

БИБЛИОТЕКА КИНОДРАМАТУРГИИ



А. АБРАМОВА, Г. РОШАЛЬ

МУСОРГСКИЙ

ГОСКИНОИЗДАТ • 1951

БИБЛИОТЕКА КИНОДРАМАТУРГИИ

А. АБРАМОВА, Г. РОШАЛЬ

МУСОРГСКИЙ

КИНОСЦЕНАРИЙ

Москва

Госкиноиздат

1951

Петербург конца пятидесятих годов девятнадцатого века.
Весна. В легком голубовато-сером сумраке кажутся прозрачными улицы, мосты, дома.

Свет фонарей ярко освещает подъезд императорского Мариинского театра. Непрерывным потоком с шумом подъезжают экипажи, кареты.

Публика спешит на премьеру.

У входа афиша:

1858 год
На Мариинском театре
русскими придворными актерами
представлено будет
в первый раз по возобновлении
«Руслан и Людмила» М. Глинки.

Справа у подъезда блестящая группа офицеров-преображенцев. Один из них, с голубыми смеющимися глазами, Модест Мусоргский.

— Нет, вы только взгляните! — восклицает он, вглядываясь во все растущую толпу у подъездов и вереницу экипажей. — Вся Россия здесь!

— Модест изнемогает от восторга, — лениво иронизирует длиннолицый гвардеец и обращается к старшему брату Мусоргского: — Уйми своего братца, Филарет!

Но Модест Мусоргский не слушает:

— Воздают, наконец, должное гению русской музыки!

— Увы, нынче все простонародное в моде, — цедит сквозь зубы Филарет. — «В предчувствии реформ», как пишут в журналах.

— Однако и вы все пожаловали, — заодно парирует Модест.

— Полковник настоял, — пожимает плечами щеголеватый гвардеец.

— Нет, это противоестественно, — оживляется вдруг длиннолицый. — Приказом посылать на оперу... в угоду либералам. Этак и впрямь начнут освобождать мужиков. — Он с решительным видом натягивает перчатку. — Ну, не выдавайте, друзья, я к Этьену! — И он уходит насвистывая.

Все больше и больше экипажей подъезжает к театру. С извозчичьей пролетки соскакивает молодой человек в форме военного врача.

Обрадованный Мусоргский оставляет гвардейцев и подбегает к нему.

— Бородин! Вы — и во-время? Чудеса! — смеется он.

— Дежурство, лабораторию, все бросил — и сюда! — Бородин с удовлетворением оглядывает спешащих людей, суету у подъезда. — Наконец-то, услышим мы нашего Глинку в театре! Я, как мальчик, волнуюсь...

— И я! Я ночь не спал! — Мусоргский вынимает из кармана нотную рукопись. — Вот Балакиреву закончил!

— Балакиреву... Давно я к нему не показывался, — смущенно говорит Бородин. — Даже как-то неловко и встретиться.

— Бойтесь? — Мусоргский смеется. — Идемте.

Бородин и Мусоргский идут, почти бегут по мраморной лестнице вестибюля и в фойе задерживаются. Навстречу им

движется блестящая группа. Мимо почтительно расступающейся публики медленно проплывает по направлению к своей ложе великая княгиня Елена Павловна. За ней следуют ее свита и деятели императорского Музыкального общества: эlegantный критик Гагин, композитор Ржевский, маститый профессор фон Мец и либеральный деятель Карцев, приветливый и благообразный, с длинными бакенбардами.

Мусоргский учтиво кланяется, а в глазах его мелькает озорной огонек:

— Ее высочество и весь музыкальный Олимп! — сообщает он Бородину.

В свите Елены Павловны оглянулись.

— А-а... Оруженосцы господина Балакирева! — иронически говорит Ржевский, вскидывая голову с пышной гривой волос.

Зал Мариинского театра сегодня особенно торжествен. Парадно холоден голубой бархат перил и кресел. Тяжелыми складками ниспадают занавесы лож. Блистают огнями и золотом люстры. Партер, ложи, ярусы постепенно заполняются зрителями. Сверкают ордена на мундирах, драгоценности на обнаженных плечах дам в светлых воздушных туалетах. Появляется в своей ложе великая княгиня, за ней деятели Музыкального общества. Рядом с Еленой Павловной композитор Даргомыжский.

Сегодня в Мариинском театре присутствует не только светский сановный Петербург. Ряды партера заняты разночинцами, в проходах балконов и галерей толпятся студенты.

В одной из лож бенуара возвышается богатырская фигура Владимира Стасова. Поглаживая свою длинную бороду, он с удовольствием разглядывает переполненный до отказа зал. Рядом с ним стоит Балакирев, смуглый и подвижный, с живыми черными глазами. Возле Балакирева его ученики: корректный, насмешливый Цезарь Кюи в форме студента

Военно-инженерной академии и совсем юный морской кадет Римский-Корсаков.

— Салют боевой компании! — радостно приветствует друзей Мусоргский, подходя к ним с Бородиным.

Стасов весело знакомит смущенного Бородина с балакиревыми.

— Цезарь Кюи! — представляет он студента Военно-инженерной академии. — Инженер, композитор и критик. Презлое перо будет!

— Не пощадим ни крови, ни чернил! — с шутливым пафосом восклицает Кюи.

— Римский-Корсаков! — продолжает своим органным басом Стасов, выдвигая вперед высокого застенчивого юношу.

— Бесстрашен на море и у рояля! — звонко подхватывает Мусоргский.

— А вы почему скрываться вздумали? А, милостивый государь? — с нарочито грозным видом допрашивает Бородин Балакирев.

— Отнюдь нет, — теряется Бородин. — Но госпиталь... и моя химия...

Мусоргский улыбнулся. Балакирев заметил это и так же грозно обратился к нему:

— А вы переложили своего «Царя Эдипа» для двух роялей?

И, сразу превратившись в смиренного ученика, Мусоргский протягивает нотную рукопись:

— Как же, Милий Алексеевич!

Балакирев тут же просматривает ноты, а довольный Стасов басит:

— Вот сегодня и исполним у Милия Балакирева... Тс-с-с... — прерывает он самого себя.

Дирижер появляется у пульта. Короткий стук дирижерской палочки. Оркестр начинает увертюру. Лютя звуки бессмертной музыки Глинки.

Задумчиво, с печальной улыбкой слушает увертюру Даргомыжский, сидящий в ложе великой княгини Елены Павловны.

— О, вы не веселы, мой дорогой Даргомыжский, — мило стиво обращается к нему великая княгиня по-русски, но с сильным немецким акцентом. — А так ожидали возобновления оперы вашего покойного друга.

— Воспоминания, ваше высочество! — медленно отвечает Даргомыжский. — Года бегут, голова седеет... Я помню премьеру этой оперы... Четырнадцать лет ее не видел зритель!

— Но и вашу прекрасную «Русалку», — с изысканной любовью напоминает Елена Павловна, — ее тоже не часто показывают! Что делать?.. Мы не можем обойтись без европейских опер. Не правда ли, господин Ржевский?

Ржевский кланяется:

— О да, ваше высочество.

— Да, да. «Невеста-лунатик», «Роковая клятва»... — не без иронии и желчи перечисляет Даргомыжский.

Елена Павловна столь же любезно, как и прежде, останавливает его:

— Но тем не менее, мой дорогой Даргомыжский, вы есть главный русский композитор. Не правда ли, господа?

Члены дирекции императорского Музыкального общества склоняют головы в знак согласия:

— Несомненно, ваше высочество.

— Вы есть один! — добавляет Елена Павловна.

— О, что вы, ваше высочество! — негромко рассмеялся Даргомыжский. — Нас много! Вот они, наследники Глинки!

И Даргомыжский указывает на ложу балакиревцев.

После спектакля «Руслан и Людмила» в квартире Балакирева собрались композиторы, артисты, ученые. Здесь и благообразный либерал Карцев, пришедший с Даргомыжским.

В просторной и скромной балакиревской гостиной, где стоят два раскрытых рояля, шумно и многолюдно. Даргомыжский подходит к плотному человеку с копной густых седых волос, характерным орлиным носом и ласковой, какой-то детской улыбкой.

— И Петров здесь! Ох, и пел ты сегодня, наш первый Сушанин и Руслан!

— Как мог, как мог! — смиренно кланяется под веселый смех и аплодисменты присутствующих прославленный певец.

— Да, живут глинковские однокашники, — продолжает Даргомыжский. — Ты да я, и вот Стасов с нами! Нет, не остановить российских музыкантов!

— Не остановить, не остановить, — в тон ему подхватывает Стасов и ставит на пюпитр рояля, за которым уже сидит Балакирев, нотную рукопись.

— Из «Царя Эдипа» Модеста Мусоргского! — торжественно провозглашает он. — Переложение для двух роялей. Милий Алексеевич, прошу! Модест, прошу!

Гости с интересом приготовились слушать.

Но Мусоргский наклоняется к Балакиреву и с просительным видом шепчет ему:

— Признаться, мне не хотелось бы сейчас играть «Эдипа»!

— Что такое? Почему? Начинайте! — отрывисто шепчет Балакирев и кладет уже руки на клавиши.

— Скучновато что-то в древней Элладе! — с ребячьей настойчивостью продолжает Мусоргский. — Милий, позвольте другое.

Балакирев не успевает ответить — Мусоргский садится к роялю и начинает играть.

Льется полная страсти и силы импровизация Мусоргского. Все, что переполняет его сегодня — порыв к борьбе, вера в будущее, радость молодости, — все это звучит в бурной, стремительной музыке. Русская тема определяет ее характер. Пройдет время, и мелодии этой импровизации с небывалой

остротой и мощью зазвучат в музыкальных темах «Бориса Годунова».

Вдохновенный порыв молодого композитора увлек всех.
— Ох и хорош! — одобрительно шепчет Осип Петров, с удивлением глядя на Мусоргского.

Стройная блондинка с беспокойными серыми глазами Юлия Платонова, как зачарованная, слушает Мусоргского. Ее муж, представительный военный, склоняется к ней, говорит что-то. Она, увлеченная музыкой, не слышит его, не отвечает.

Стоя у самого рояля и пристально вглядываясь в Мусоргского, слушает его стремительную импровизацию и Владимир Стасов.

Даргомыжский лукаво подмигивает Балакиреву, с нежностью указывая на Мусоргского:

— Мой крестник в музыке. Памятуйте!

— Памятую, Александр Сергеевич, — отвечает Балакирев, неотрывно глядя на своего ученика.

А Мусоргский ничего не замечает. Голубые глаза его блещут, лицо вдохновенно, русский хохолок упал на лоб. Забывшись, со всей силой ударяет он по клавишам...

И вдруг послышался характерный свист — это лопнула струна.

Мусоргский на мгновение растерялся... Рассерженный и на себя и на струну, сконфуженный, прекращает он игру.

Тишина в гостиной... Потом смех.

Громко смеется Даргомыжский и начинает аплодировать. За ним Стасов и все остальные. Громче всех, к удивлению Мусоргского, аплодирует и смеется Балакирев.

С взволнованным лицом подходит к Мусоргскому стройная сероглазая блондинка:

— Вы чудесно играли.

Мусоргский, уже оправившийся от смущения, галантно щелкает каблуками:

— Благодарю вас.

— Мне даже захотелось это спеть,— доверительно продолжает Юлия Платонова.

— А вы поете?

— Я непременно буду певицей,— уверяет она Мусоргскому свою мечту,— хотя мне это и запрещают...

— Запрещают? — удивленно спрашивает Мусоргский.

— Да,— со вздохом говорит Платонова.

— Юлия! — зовет ее муж.

Мусоргский, взглянув на него, сочувственно улыбается Платоновой и низко, почтительно кланяется ей.

Аплодисменты и оживленные голоса все еще не умолкают в гостиной.

Даргомыжский, подходя к Карцеву, не без вызова спрашивает этого благообразного либерала:

— Не сетуете на меня, что завез вас к моему другу Балакиреву и его братии?

— Как можно, что вы, что вы, помилуйте! — протестует Карцев с любезным видом, поглаживая свои пышные бакенбарды.— Ведь здесь даже струны ахнули от изумления!

— Вот именно!

Петербург спит. По зеленоватому небу плывут легкие, прозрачные облака. Чуть плещется широкая Нева. Призрачной кажется в дымке белой ночи высокая решетка Летнего сада. Шестеро друзей шагают по мостовой. Впереди Кюи, сбоку Балакирев, рядом Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков. Любовно поглядывает на друзей еще более высокий в цилиндре Стасов.

— Романтическая ночь,— усмехается Цезарь Кюи.— Шесть мушкетеров шагают по городу...

— Шестеро, как один! — подхватывает Стасов.— Вы знаете, Милий, а мне по сердцу пришла эта лопнувшая струна. Знаменует избыток сил. По всей Руси сейчас избыток сил...

— Вы милейшее существо, Владимир Васильевич! — любитесь им Балакирев, довольный сегодняшним вечером.

— Я не родился художником... — низкий голос Стасова мягок в поющем весеннем воздухе. — Но я поведаю о вас, моих дорогих балакиревцах. И я буду счастлив, если когда-нибудь смогу сказать себе: я сделал то, что мог...

— Стойте, друзья! Я должен обнять вас, Владимир Васильевич! — пылко восклицает Мусоргский.

— Модест, — слышен строгий окрик Балакирева, — застегните сейчас же воротник шинели!

— Весна! — протестует Мусоргский.

— Весну еще какую-то выдумал в питерском апреле, — ворчит Балакирев.

— И до чего же сердит и грозен! — тормозит его Стасов. — А все от бороды... Сколько раз молил: снимите вы эту разбойничью бороду, Милий...

— Не могу, — отмахивается Балакирев. — Без нее я слишком молод.

Молодой, радостный смех покрывает его слова.

Они стоят на набережной Невы. Весенний ветер скользит по воде.

— Да... — задумчиво говорит Стасов. — Половодье... Вот и Герцен в «Колоколе» благовестит: «Исполин поднимается»... — Стасов вынимает из кармана журнал и неожиданно предлагает: — Пойдемте-ка, друзья, ко мне и будем сей номер читать вслух и с пристрастием.

— И Чернышевского будем читать, — подхватывает Мусоргский. — Как у него чудесно сказано: «Прекрасное есть жизнь!»

— А ведь мне, пожалуй, пора домой. Работать, — лукаво косится Балакирев на Мусоргского, — чинить эту лопнувшую струну, что от избытка сил...

И опять все смеются.

Весенний ветер доносит обрывки далекой песни. Забили куранты на Петропавловской крепости.

Кюи заторопился:

— К великому сожалению, я вынужден...

— А, Цезарь спешит к молодой жене,— поддразнивает Мусоргский.— Берегитесь, друзья, женитьба угрожает дружбе!

Кюи с ехидством парирует:

— А час тому назад вы сами... с прелестной дамой...

— О, что вы,— смеется Мусоргский.— Писать, писать — вот чего хочется мне, Милий Алексеевич! Клятву даю: большую оперу напишу!

— О!.. О!.. Оперу, вот как? — раздаются возгласы.

— И вовсе не о царе Эдипе. Я напишу о дружбе, о битвах, о победах народа! — вдохновенно мечтает Мусоргский.

— Виват! — одобряет Стасов.— Трижды ура!

— А на какой сюжет? — интересуется Бородин.

— Что-нибудь красочное, небывалое! — говорит Мусоргский.

— «Спартак», к примеру,—подсказывает Римский-Корсаков.

— Да, да, что-нибудь в этом роде.

— Ну что же, руку! — говорит Балакирев, переглянувшись со Стасовым.

И Мусоргский горячо жмет руку своего учителя.

...Мусоргский один. В дымке тихой ночи идет он, напевая что-то по пустынным улицам Петербурга.

Мелодия, которую напевал Мусоргский, переходит в широкую тему в оркестре. Треплет ветер царский манифест 1861 года об освобождении крестьян.

«...Мы, Александр Второй, император и самодержец Всероссийский...»

Мелодия нарастает. Она сталкивается с барабанным боем.

Конский топот, громыханье пушек, человеческие вопли заглушают ее.

«...Крепостные люди поймут... и с благодарностью примут важное пожертвование, оказанное им благородным дворянством...»

Ветер теребит мокрый от дождя картон манифеста.

1863 год. Осень...

Шумят могучие псковские сосны, отражаясь в тусклой глади озер. А за их темной зеленью осенним багрянцем пылают березы и клены...

Тревожные алые полосы прорезают серую свинцовую тяжесть туч. Алеют маковки старой, дождями омытой, ветрами обвеянной церквушки. Стоит она на горе, за нею просторы, озерная даль...

Около церкви у базарных лотков шумный говор толпы, оживление. Посреди площади, на помосте — ширма кукольника. Обступил народ помост, ждет представления петрушек.

У ширмы стоят огромный рыжий детина-кукольник и два молодых парня-музыканта: долговязый наигрывает на балалайке, веснушчатый веселый паренек звенит бубенцами.

— Вчерашнее давай! — кричат кукольнику из толпы.

— Что вчера, то и сегодня, по милости господней, — озорно подмигнув публике, провозглашает басом кукольник, начиная представление.

Он скрывается за ширмой, и тотчас над ней появляются две куклы. Одна в голубом шелковом кафтане изображает барина помещика, другая — в красной рубахе — мужика.

Плотным кольцом окружили зрители помост кукольника; смотрят и слушают мужики и бабы. Среди них Мусоргский, он в поддевке и поярковой порыжелой шляпе...

Эй, староста, хорошо ли
Нонче мои крестьяне живут? —

спрашивает кукла-помещик.

Мусоргский с интересом следит за куклами.

Ан очень хорошо твои мужички живут!
В шелка-бархаты наряжаются,
С кваса на воду перебиваются.
А в главной горенке веревка помещается...—

выпевает кукла-мужичок сладким голоском.

А для чего, стало быть? —

тупо спрашивает барин.

А пусть барин на ней повисит-покачается...

Зрители хохочут. Кукла-мужичок опускается внутрь ширмы и, выскочив оттуда с дубинкой в руках, начинает колотить барина. Еще громче хохочут зрители. Заразительно смеется, блестя зубами, красивая молодка, держащая корзину с гусями. Хохочет чернобородый детина:

— Вот это да! На-ко, барин, выкуси!

— Вон пристав едет, он те покажет! — неодобрительно кричит мужик-миroeд в синей поддевке со связкой бубликов через плечо.

— Ишь, Ванька-искариот! — звонко огрызается баба.

— Эй, расходись подобру-поздорову! — рывкает подъехавший в бричке пристав.

— Волю подарили, в гроб заколотили! — гремит кукольник в лицо приставу.

Пристав свистит и машет рукой, подзывая стражников.

— Не тронь его, он правду говорит! — кричат из толпы.

— А пошто царский манифест хает? — не унимается человек в поддевке.

— Стар твой манифест! Третий год, а толку не видать, — кричат другие.

— Ага... Я вижу, он тут не один! — грозитя пристав.

— Спасайся, православные! — раздается вдруг пронзительный женский крик.

Подбегают стражники, пытаются схватить кукольника.

— А ну, отпадай, мертвецы! — двинул могучими плечами кукольник, и посыпались в разные стороны повисшие на нем стражники.

Как во городе было, во Казани!..—

озорно гремит голос кукольника на всю площадь.

— Беги, беги! — кричат ему из толпы.

Бежит кукольник через сельскую площадь. Расступается народ, давая ему дорогу. А в погоню за ним поскакал стражник. Улюлюкает народ стражнику вслед. Шум, свист, разногласные крики звенят в холодном осеннем воздухе.

— Беги, душа! — кричит и Мусоргский вслед рыжему кукольнику, размахивая шляпой.

— Лови! Ату его, ату! — слышались хриплые вопли из окна красного кирпичного дома. С крыльца волостного правления, пьяно пошатываясь, сбегает грузный усатый помещик в распахнутом парусиновом пальто. Из открытого окна высывается второй помещик с холеными бакенбардами и салфеткой, повязанной у шеи.

— Все они тут бунтовщики-пугачевцы! — кричит усатый.

— Ишь, выстроились! — поворачивается он к мужикам, толпящимся во дворе волостного правления. — Жалобу на меня посреднику состряпали, каналы!

— Обманываешь нас, барин! На себя нашу землю оттягиваешь, — отзывается с укором и горечью седобородый мужик. — А нам что оставил?

— Пот да слезы... — сурово говорит молодой мужик, бесстрашно приближаясь к барину. — Пот да слезы!

— Зато вольная! — издевается пьяный барин, размахивая арапником перед самым лицом мужика.

— Так их! Так их! — выкрикивает помещик из окна.

— Ты чего зенки выпучил? — накидывается вдруг барин на большеглазого мальчонку — поводыря слепцов, который пристально, неотрывно смотрит на него, и вдруг... хлещет мальчика арапником по лицу.

Вскрикивает мальчонка-поводырь и падает на землю. Услышав крик, заволновались слепцы, заметались, окружили избитого ребенка.

— У, цари-ироды! — кричит, грозя кулаком, худой костлявый мужик.

— А-а-а... — причитает сквозь слезы один из слепцов, поглаживая голову мальчика.

Молча, в глубокой скорби смотрит Мусоргский на слепцов, на избитого мальчика-поводыря, на мужиков у волостного правления...

С холма стремительно спускается конный отряд стражников. Что-то кричит пристав. Слышатся невдалеке пронзительный бабий вопль и детский плач. Лошади с топотом проносятся мимо...

Не разбирая дороги, идет Мусоргский по краю крутого оврага. И слышится ему в осеннем воздухе плач слепца над избитым ребенком, и проступает в том вопле-плаче тема будущей мелодии Юродивого.

Гудит набат. Алым заревом на фоне меркнувшего заката взметнулся пожар. Рыжие столбы дыма вздымаются к небу.

И снова проносятся силуэты стражников.

Идет Мусоргский, задумчивый, сосредоточенный, навстречу осеннему ветру. Тревожно гудит набат.

Толпы народа движутся по косогору. Кто пешком, кто верхом спускаются в низину. Мимо Мусоргского идут мужики с вилами, косами, кольями в руках. Веревками подпоясаны сермяжные кафтаны, всклокочены бороды, низко надвинуты шапки на сверкающие ненавистью глаза. Так шел народ в смутное время Самозванца, так шел народ в дни медных и соляных бунтов, так поднималась мужицкая вольница на бар в Пугачевщину...

— Куда вы? — спрашивает Мусоргский одного из мужиков.

— Ерохинские барскую усадьбу жгут! — поясняет остроглазый шустрый мужичок. — Вон стражники поскакали, а мы, значит, нашим мужикам на подмогу.

Суровый мужик исподлобья оглядывает Мусоргского.

— А тебе что? Ты с нами, аль с кем?

— Он сам по себе, — говорит кто-то из толпы.

— Самому по себе негоже на земле, — веско отвечает лобастый чернобородый мужик.

— Да ведь это барин каревский, — выкрикивает третий.

— И верно, из Мусоргских, — подтверждает маленький приземистый мужичок.

— Чего на дороге стоишь? — уже с угрозой и ненавистью глядит на Мусоргского чернобородый. — Уходи, барин!

— Стой! — кричит один из мужиков подбегая. — Это ведь младшенький. Этот...

— Все они над нами старшенькие! — мрачно перебивает чернобородый и, махнув рукой, идет мимо.

Темными грозными тенями встают вооруженные дрекольем угрюмые, молчаливые мужики на фоне неба, в зареве горящей усадьбы.

Неумолчно, назойливо гудит вдалеке набат.

Комната в усадьбе Мусоргских. Ночь. Красноватый отсвет лампы освещает лицо Мусоргского, лежащего на кушетке. Мерцает ночник на рояле. Бесшумно двигается по комнате, прибирая разбросанные книги, и негромко напевает старая няня:

Солнце закатилось
За темны за леса,
Тут возныла туча темная,
Покрыла небеса...

— Да ты не спишь, батюшка-Моденька?

— Пой, няня, еще пой, — тихо говорит Мусоргский и вдруг спрашивает: — Ну как с ними, няня? Много народу перебили?

Няня смахивает слезу:

— Ох, и много!.. Что с тобой, Моденька?!

Мусоргский приподнимается. Кажется, звучит музыка, и он прислушивается к ней.

— Тс-с-с! Слышишь?!

— Что ты, батюшка? Мерещится те, дружок,— крестит его няня.— Спи, усни, ветер это.

Серое осеннее утро. В комнате беспорядок. У раскрытого чемодана хлопочет няня, укладывая вещи. Мусоргский собирает ноты. Он в штатском. Лицо его невесело, голубые глаза холодны и строги.

Скрипнула дверь, и в комнату вошел старший брат Мусоргского Филарет с дымящейся трубкой в руке. Он долго и пристально смотрит на Модеста.

— Что узрел? — сквозь зубы цедит Филарет.— Хороши твои святенские мужички!.. А ты? Как понимать прикажешь? Сюрприз на прощанье? Ты, я слышал, землю мужикам без выкупа отдаешь?!

— Да, с этим покончено,— спокойно говорит Мусоргский, указывая на гербовую бумагу, лежащую на столе.

Филарет, не веря глазам, разглядывает бумагу:

— Вот как!.. Значит, ты и маман и семью разорить готов, «освободитель»?..— Он едва сдерживает ярость.— Сбросил мундир — и в бродяги?!

— Будет, будет тебе! — укоризненно и сердито перебивает Филарета няня.

Филарет, дымя трубкой, в волнении расхаживает по комнате.

— Чернышевский и прочие! — кричит он Модесту.— Вот, кто твой учителя жизни, вот, кто подталкивает тебя на безумства! Но их уже стерли, их нет. И поделом... И всякому смутьяну такое же уготовано! А ты к ним? Знаю! Но чем жить будешь?.. Ведь ты даже не композитор.

Модест вздрагивает и молча смотрит на брата.

— Опера «Саламбо»! — Филарет берет с рояля нотные листы. — Опера Модеста Мусоргского «Саламбо», или «Ливийцы», — читает он с издевкой. — А ведь ни строчки! Ни строчки! Как приехал с одним хором, так и отбываешь с одним хором!

— Не говори мне о «Саламбо», слышишь! — вспыхивает Модест и, вырвав из рук брата ноты, медленно рвет их, бросает на пол. Взяв чемодан, он, не оглядываясь, выходит из комнаты.

— Что с тобой? — испуганно восклицает Филарет и идет за ним в портретную.

— Опомнись, Модест! — обнимает он брата. — Брось это все. Ведь ты же можешь быть украшением общества! Ведь ты же Рюрикович, Модест! Мы род ведем от князей Смоленских!

Глаза Модеста вспыхивают вызовом. Он отстраняется от брата:

— Я не менее твоего памятую о наших предках! — говорит он тихо. — Не забывай тогда и нашу родную бабку, — он подходит к одному из портретов, висящих на стене, и, с любовью и гордостью глядя на него, продолжает, — крепостную Арину, свет Георгиевну!

Филарет теряет самообладание.

— Ты убиваешь маман! — кричит он.

— Это неправда! — шепчет Мусоргский. — Нет, это неправда. Она понимает меня.

И вдруг Модест бросается наверх по винтовой лестнице.

Он вбегает в небольшую со спущенными занавесами спальню. Подходит к кровати и опускается на колени перед больной матерью.

— Я убиваю вас, маман? Дорогая, милая, скажите!

— Нет, — отвечает Юлия Ивановна Мусоргская, целуя сына. — Я рада, что ты едешь, я рада всему, что ты делаешь... Почему же ты плачешь, Модя?

— Обещайте мне, что вы поправитесь. Слышите? Обещайте!

— Я поправляюсь,— говорит, улыбаясь, Юлия Ивановна.— И я приеду к тебе... на премьеру твоей оперы... Ведь ты же скоро закончишь ее?

— Не знаю, не знаю...— опускает глаза Мусоргский, склоняясь к ее рукам.

...Едет Мусоргский. Уже далеко позади осталась за старым парком усадьба. Поле кажется бесконечным. Идет дождь. Шумят вдали столетние сосны. Поблескивают воды древних озер.

Будто звучит песня... Прислушивается Мусоргский. Песня то громче, то совсем затихает. Тяжело позвякивая кандалами, движутся по осенней топкой дороге арестанты. Шагает среди них, расправив свои широкие плечи, рыжий кукольник. Капли дождя сбегают по его лицу, губы сжаты, взгляд упрям. Долго смотрит ему вслед Мусоргский.

Звучит песня.

...И вот Петербург в серой мутной пелене дождя. Призрачен силуэт Исаакиевского собора. Призрачен вздыбленный конь Петра. Вечереет... Огни уличных фонарей отражаются в темной воде канала. По набережной торопливо идут редкие прохожие... В тряской извозчичьей пролетке проезжает Мусоргский...

У подъезда большого здания стоит Мусоргский. Его широкополая шляпа надвинута на самые брови. «Бесплатная Музыкальная школа» — гласит скромная медная дощечка у подъезда.

Мусоргский медлит у входной двери...

В веселом золотисто-белом вестибюле его внимание привлекает афиша:

СИМФОНИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
«Бесплатной Музыкальной школы»
под управлением М. А. Балакирева
Сезон 1863—1864 гг.

Пробегаая глазами строчки афиши, Мусоргский машинально снимает пальто, шляпу, передает их старику швейцару Ивану Матвеевичу.

В вестибюле звенят молодые голоса. Мимо Мусоргского, обгоняя друг друга и оживленно переговариваясь, спешат студенты, курсистки, мастеровые, фабричные. Неяркое петербургское солнце пробивается в окна, мягкими бликами играет на молодых лицах.

Мусоргский поворачивается к группе молодежи, толпящейся у вывешенного списка. Черноволосый парень с волнением выкрикивает фамилии принятых в школу учеников:

— Анисимов... Ивочкина Мария... Михайлов, слушатель Медико-хирургической академии...

— Я!

— Нестеренко, учительница воскресной школы...

— Это я! — радостно сообщает миловидная девушка в темном платье.

— Поздравляем, — звонко кричит ей другая.

— Строгова, модистка... — продолжает черноволосый парень. — Илья Журбин, плотник по профессии... Это я! — прерывает он чтение списка.

— Поздравляем, — раздаются вокруг веселые голоса.

Органный бас Стасова перекрывает многоголосый шум:

— Так и передайте вашей уважаемой редакции: дела нашей школы идут неслыханно и небывало!

Мусоргский, вздрогнув, оборачивается на его голос.

— ...Концерты последуют один за другим!

Стасов спускается по лестнице. Богатырская фигура его величественно возвышается над тремя допрашивающими его журналистами. При виде Мусоргского радостная улыбка освещает лицо Стасова. Заторопившись вниз, он на ходу говорит журналистам.

— И запомните, мы сделаем музыку достоянием народа, несмотря на вражеские атаки любых мракобесов из императорского Музыкального общества!

Журналисты оживляются:

— Позвольте, но как же господин Даргомыжский?

— Ведь и он в Музыкальном обществе? — ехидно добавляет один из них.

— Не одни же там титулованные фраки и кринолины! — усмехается в пышную бороду Стасов. — Будет в свое время русское Музыкальное общество и музыкальным и русским!

Оставив журналистов, он устремляется к Мусоргскому. Студенты расступаются, давая Стасову дорогу.

— Мусорянии! Моденька! — раскрывает свои могучие объятия Стасов. — Давно прибыли? — Он прижимает Мусоргского к себе, потом испытующе всматривается в него. — О, что-то новое у вас в глазах! Нет, нет, не спрашиваю и не слушаю, а то Милий обидится. Ох, и ждем же мы вас, нужны вы Милию дозареву! — И он увлекает смущенного Мусоргского за собой.

...Они идут по длинному коридору «Бесплатной школы». Слева из окон падают мягкие золотистые блики солнца. Справа ряд дверей, за которыми стоит многоголосый музыкальный шум. Из одной комнаты доносится хор Глинки, из другой — звуки репетируемого Бетховенского марша. И совсем рядом звенит девичий голос, старательно выводящий замысловатое сольфеджио.

Окруженная группой молодых девушек подходит к дверям одного из классов белокурая стройная женщина. При виде

Мусоргского серые глаза ее вспыхнули удивленьем и радостью.

— Здравствуйте, Юлия Федоровна,— приветствует ее ученица.

— Ну как, моя милая, вы все повторили? — улыбается девушке белокурая женщина и, еще раз взглянув на Мусоргского, скрывается за дверь.

— Кто это? — провожая ее взглядом, спрашивает Мусоргский.

— Юлия Платонова, помните?

— Ах да! — вспоминает Мусоргский свою встречу с ней в гостиной Балакирева.

— Блестящая дебютантка Мариинской оперы и наша верная союзница,— с гордостью говорит Стасов.— Молодец, Платонова! Сословные предрассудки долой, и всю себя — благородному служению.

Его слова заглушает чей-то великолепный, необычайно мощный голос. Стасов с удовольствием прислушивается и говорит Мусоргскому:

— Вот какие голоса к нам приходят. Такому сам Осип Петров позавидует!

Они направляются к дверям кабинета Балакирева, но Стасова останавливают две совсем юные девушки с нотными папками в руках. Они очень миловидны в своих скромных светлых блузках и широких клетчатых юбках.

— Мы сестры Пургольд,— с юношеской серьезностью представляется живая темноглазая Александра приседая.— Мы от Даргомыжского, его ученицы. Я певица, а сестра моя, Надежда, она фортепианистка.

— Как же, знаю, знаю, мои душеньки,— весело заулыбался Стасов.

И снова звучит чей-то могучий голос, поющий русскую народную песню.

Милий Балакирев стоит посреди своего кабинета, возбужденный, со сбившимся набок галстуком. Он не сводит влюб-

ленных глаз с вихрастого рослого паренька в просторном пиджаке.

— Могу и сильнее взять, не опасайтесь,— кончив петь, говорит паренек сидящему за роялем хормейстеру школы.

— Ну и голос! — восхищается Балакирев.— Вот когда рыскал по всей Руси за песнями для моего сборника, помнится как-то раз такой же голосище под Жигулями как загремит!..

— На Волге не бывали-с,— степенно отвечает паренек.— Мельниковы мы, при тятеньке состоим по торговому делу.

— А ну-ка, еще раз, Мельников!

Могучий голос Мельникова потрясает балакиревский кабинет:

Ехал пан, ехал пан,
Ехал пан от князя пьян,
Увидал, увидал
Красну девицу в саду
Э-эх!

— Ну-с, Мельников, учить будем,— весело говорит Балакирев, отпуская паренька.

— Покорно благодарим,— расплывается в улыбке лицо Мельникова, и он уходит в сопровождении хормейстера.

Балакирев направляется к роялю, у которого его ожидает помощник с папкой дел.

— Так, так,— быстро просматривает Балакирев афиши.— Балакирев «Русь»... Зачем меня на первое место выдвинули? — говорит он своему помощнику с досадой.— Римский-Корсаков «Симфония»... Отлично! Бородин... Кюи. Ария из «Ратклифа» в исполнении Платоновой. Превосходно! Мусоргский... Почему тут вопросительный знак стоит?

— Да ведь не известно еще...

— Восклицательный ставьте! — сердится Балакирев.— Человек мне оперу везет, а вы...— и, недовольно махнув рукой, он подходит к двери в соседний зал.

— Как дела, Бородин? — спрашивает он, открывая дверь.

В пустом концертном зале у стола, заваленного нотными листами, сняв мундиры, сидят за спешной работой Корсаков, Кюи и Бородин.

— Близимся к концу, Милий Алексеевич...— виновато отзывается Бородин.

— «Близимся к концу»,— передразнивает Балакирев.— Следовало бы во-время закончить оркестровку,— журит он Бородина,— а не заставлять других за вас пыхтеть!

— Да, но представьте незадачливость моей фортуны,— разводит руками Бородин с покаянным видом:— Как снег на голову профессорская кафедра по химии...

Балакирев хотел что-то сказать, но с шумом распахивается дверь, и в зал входит Стасов, ведя за собой Мусоргского.

— Милий, дорогой друг! Смотрите, кого я вам доставил!

— Модест!— восклицает Балакирев.

Бородин, Корсаков, Кюи шумно и радостно здороваются с Мусоргским:

— Модест!

— О, псковский витязь!

— Мусорянин!

— Милий Алексеевич, друзья!..— тихо говорит Мусоргский, взволнованный встречей.

За окнами кабинета Балакирева угасает заря. Красноватые отблески ложатся на лица, на стены... Огня еще не зажигали. Стоит томительная тишина. Все лица невеселы. Стасов что-то чертит в своем блокноте. Балакирев неподвижен у окна. Мусоргский нервно расхаживает по комнате:

— Не верю,— говорит Бородин, не спуская с него глаз.— Хоть убейте, дорогой, не поверю, что вы ничего не привезли.

— Ничего нет,— отрывисто отвечает Мусоргский.— Как лбом об стенку с моей ливийской оперой...

— Но ведь вы же хотели, Модест!— волнуется Корсаков.— Ведь красочный сюжет, восстание...

— Не то восстание,— обрывает ожесточенно Мусоргский,— сюжет не тот! Нет, какие уж тут ливийцы... Ребенка, избитого арапником, видели?.. А рыжего кукольника?.. Народ восставший и подавленный видели?.. А как об этом написать — не знаю.

Балакирев быстро отходит от окна. Стасов закрывает блокнот.

— Вы, и не знаете...— Балакирев в упор смотрит на Мусоргского. В его суровых глазах непривычно мягкий свет.— Ведь вы полны до краев, Модест!

— Милый прав! — обнимает Мусоргского Стасов.— Всмотритесь в себя, Мусорянин.

Мусоргский взволнован. Он проводит рукой по волосам. Что-то вспоминает, обдумывает, оглядывается на рояль...

— Разве... это? — И он шарит по карманам, достает какие-то листки.— Но это так... отрывки, мысли...— говорит он сбивчиво.

— Ага, ага,— торжествует Балакирев, подводя Мусоргского к роялю.— Темно! Зажгите лампы.

— Не надо, не надо! — тихо просит Мусоргский и медленно садится за рояль.

И вот в настороженной тишине комнаты звучит слезная мольба и жалоба ребенка:

Барин мой миленький,
Барин мой добренький,
С голоду смерть страшна,
С холоду стынет кровь... —

с потрясающим слушателей чувством и правдой выражения поет Мусоргский.

Барин мой добренький,
Сжался над бедненьким,
Сжался над горьким сироточкой...

Вдруг оборвал Мусоргский... Пауза... И стремительно на-

чал другое. Бабьей тоской и дерзким вызовом звучит тема обойденной счастьем шевченковской казачки:

Гоп, гоп, гопака,
Полюбила казака.
Только старый, да недюжий,
Только рыжий, неуклюжий.
Вот и доля вся пока. Гой!

— Как, Цезарь? — наклоняется Корсаков к Кюи. Тот молчит, задумчиво сбрасывает пепел с папиросы.

Переглядываются восхищенные Стасов и Балакирев.

Радость и волнение на лицах друзей Мусоргского. Все чувствуют необычность, смелую новизну и силу того, что исполнял он.

Баю-бай, бай,
Баю-бай, бай...—

звучит теперь колыбельная Еремушки. Совсем тихо, с невыразимой печалью поет Мусоргский:

Ниже тоненькой былиночки
Надо голову клонить,
Чтобы бедной сиротинушке
Беспечально век прожить...
Баю-бай, бай,
Баю-бай, бай...—

еле слышно заканчивает Мусоргский и обрывает песню. Он снимает руки с клавиш, опускает голову...

Все молчат.

И вдруг в комнате зазвучали первые запевы бессмертного плача Юродивого. Еле уловимо проступают в них отзвуки плача слепца. Мусоргский поет с закрытыми глазами и вскоре умолкает.

В комнате сгустился сумрак, только красноватый закатный свет проскальзывает сквозь высокие окна. Строги задумчивые лица. Бородин незаметно вытирает влажные глаза. Долго длится молчание. Наконец Балакирев медленно поднимается с места.

— Что это, Модест?

— Не знаю, не знаю... медленно и задумчиво говорит Мусоргский, не поднимая головы.

— Нет, это не песни, не романсы, — говорит Стасов, — это крестьянская Русь с ее страдой и печалью. И живая. Живая! Глинка начал, Даргомыжский за ним, а вы... — Стасов не договаривает, он слишком взволнован.

— Нет, — с решительным видом вдруг заявляет Бородин. — Я, как хотите, не иду сегодня домой.

— Я тоже, — говорит Корсаков.

— Мы все не уйдем отсюда! — заключает Кюи с непривычным для него жаром. — Будем говорить и спорить о музыке.

— Смирррно! — раздается вдруг позади знакомый резкий голос.

В дверях стоит Даргомыжский. Он в плаще и цилиндре, в руке толстая палка с белым набалдашником. Вид у него необычайно торжественный, глаза улыбаются. За Даргомыжским — старый швейцар Иван Матвеевич с зажженным канделябром в руках. Комната наполняется теплым мерцающим светом. Сразу темнеют прямоугольники высоких окон.

— Что случилось, Александр Сергеевич? — спрашивает Стасов, как будто о чем-то догадываясь.

Не отвечая, Даргомыжский медленным шагом приближается к роялю, сбрасывает на крышку плащ и цилиндр и, выпрямившись и щелкнув каблуками, с театральной торжественностью провозглашает:

— От имени правления императорского русского Музыкального общества и от имени ее высочества Елены Павловны, именуемой нами музой Евтерпой, объявляем, что мы назначены вице-президентом оного Общества!

— Ура!!! — кричат хором балакиревцы.

— Ура! Видите! Я предсказывал, Милий, — радуется Стасов.

Даргомыжский торжественно продолжает:

— Придет время, друзья, и аз многогрешный призову Балакирева М. А. в воеводы и главные дирижеры!

— Ура! — снова раздается дружный веселый хор.

— Так и будет! — гремит Стасов. — Слава Даргомыжскому. Не остановить российских музыкантов! — Он радостным взглядом окидывает всех балакиревцев и обращается к Даргомыжскому:

— Смотрите, маленькая, но уже могучая кучка!

Милий Балакирев с гордой улыбкой оглядывает свою маленькую армию.

— Прибыл мой «крестник»? — любовно тормозит Мусоргского Даргомыжский и, погрозив кому-то палкой в пространство, добавляет:

— Ко времени, дружок! Рога трубят!

Прошло пять лет.

Зимний Петербург. Здание русского Музыкального общества. Метель.

Заметает снегом афишу:

СИМФОНИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
Императорского Русского Музыкального Общества
Сезон 1868—1869 гг.
Главный дирижер М. А. Балакирев

В снежной пелене дома, экипажи, люди...

Лакированная дворцовая карета подкатывает к подъезду. Лакей в пелерине с орлами, соскочив с запяток, открывает дверцу. Из кареты выходит закутанная в меха великая княгиня Елена Павловна. Ее сопровождает Карцев. Его благообразное лицо стало надменнее и жестче, бакенбарды несколько поседели.

Швейцар с булавой, низко поклонившись, широко распахивает перед ними дверь. На медной доске подъезда видна надпись: «Императорское Русское Музыкальное Общество».

Члены дирекции ожидают великую княгиню в приемной. За высокими окнами бушует метель.

Елена Павловна проплывает мимо них в свой кабинет, сухо, без улыбки отвечая на почтительные поклоны. Она явно чем-то раздосадована сегодня.

За Еленой Павловной проходит в кабинет ее секретарь.

Карцев остается в приемной, и его тотчас обступают встревоженные и раздраженные члены дирекции.

— Ваше превосходительство, — пыхтит толстый профессор фон Мец, его розовые пухлые щеки дрожат от обиды. — Положение стало невыносимым. Балакирев снова вычеркнул из программы всех европейских композиторов!

— Позвольте, но здесь и Бетховен и Лист! — возражает один из членов дирекции.

— Да, но где же Эллерт? Дессауэр? Родэ? — кипит фон Мец. — А где наши собственные композиторы? Где, к примеру, увертюра господина Ржевского к его опере «Валтасар»?!

— Как, господин Ржевский, вашу увертюру вычеркнули? — обращается Карцев к Ржевскому.

Ржевский проводит рукой по своим седеющим волосам и презрительно усмехается:

— Я думаю не о себе, а об этих священных стенах, где вот уже который год бесчинствуют с благословения господина Даргомыжского!.. Великодушие вашего превосходительства... — добавляет он язвительно, но Карцев перебивает его.

— Да, да, господа, пожалуй, мы слишком потакали им.

— Вот именно, — раздраженно поддакивает Ржевский.

— Но пригласив в свое время Балакирева, ее высочество, — подчеркивает последние слова Карцев, — лелеяла мечту образумить их.

— И вот их благодарность! — картавит элегантный Гагин,

развертывая газеты.— Взгляните, как нас третирует господин Стасов, этот «Вавила Громогласов»: «Прискорбные эстетика»... «Нищие духом»... А вот три звездочки — подпись ядовитого Кюи! «Музыка Ржевского, или арфы невпопад», — не без некоторого удовольствия цитирует Гагин, покосившись на Ржевского.

Ржевского передернуло.

— Зато мы докатились до господина Мусоргского, — возмущается фон Мец.— Начал, помните, с мужицких песен, а теперь симфонией огорошивает! Не угодно ли? — он жестом приглашает всех прислушаться.

В приемную из зала доносятся звуки симфонической картины Мусоргского «Ночь на Лысой горе».

— И, говорят, он собирается все в музыке перевернуть, — со смехом продолжает Гагин.— Слышали, господа, он оперу о чиновниках пишет... «Женитьбу», кажется... Представляете себе арию Подколесина или дуэт со свахой?!

— И напишет, — злобно замечает Ржевский.— То ли еще будет при нашем попустительстве!

— Что за варварская свистопляска?! — не выдерживает Карцев.

Из зала все громче доносится музыка «Ночи на Лысой горе».

— Это, ваше превосходительство, — с невиннейшим видом поясняет Гагин, — черти откалывают камаринскую!..

— В симфонии?!

— Ну как же! — сокрушенно вздыхает фон Мец.— Так и водится у них — всем классическим образцам наперекор!

Разгневанный Карцев обращается к своему секретарю:

— Пожалуйста, пригласите сюда господина Балакирева.

— Слушаюсь.

— Прошу к его высочеству, — провозглашает, появляясь в дверях кабинета, секретарь Елены Павловны.

Члены дирекции, перешептываясь и обгоняя друг друга, спешат к великой княгине. А с другой стороны, из зала, как

бы дразня их, все громче, все усиливаясь, гремит музыка симфонической картины Мусоргского...

В дверях приемной секретарь Карцева сталкивается с входящим Даргомыжским. Секретарь с почтительным поклоном уступает Даргомыжскому дорогу, но провожает больного композитора недобрый острый взглядом. Тяжело опираясь на палку, медленно идет к кабинету великой княгини Даргомыжский. Его изможденное болезнью лицо, с темными кругами под глазами, встревоженно и мрачно.

В концертном зале императорского Музыкального общества продолжается репетиция, оркестр повторяет «Ночь на Лысой горе». За дирижерским пультом Милий Балакирев. Его постаревшее смуглое лицо обострилось. В огненных черных глазах сейчас еле сдерживаемый гнев. Он стучит дирижерской палочкой по пульту. Озадаченные оркестранты прекращают игру.

— Господин Мартини! — обращается он к первому скрипачу. — Вы в третий раз умышленно допускаете одну и ту же ошибку!

Голос Балакирева гулко звучит в пустом многоколонном зале.

— Я в третий раз, — медленно, с сильным акцентом отвечает итальянец, — исправляю ошибка этой партитура.

— Вы слишком самоуверенны, — глядя на него в упор, резко говорит Балакирев.

— Я воспитывался в Европа, господин капельмейстер! — надменно возражает старый оркестрант.

— И отстали от России, от ее новаторов! — отрезает Балакирев.

Оркестранты одобрительно стучат смычками, выражая свою солидарность с дирижером.

Балакирев взмахивает дирижерской палочкой. Снова вступает оркестр.

— Господин капельмейстер, — окликает Балакирева подошедший секретарь Карцева.

— Да? — резко оборачивается к нему Балакирев.

— Вас просят к ее высочеству.

...За окнами кабинета продолжает бушевать метель. В парадном в стиле ампира бело-голубом с золотом кабинете, пышном и холодном, вокруг длинного стола сидят члены дирекции. На председательском месте в глубоком покойном кресле великая княгиня Елена Павловна, как всегда прямая, чинная, с недобрыми глазами и застывшей, деланно любезной улыбкой на тонких губах. У другого конца стола стоит Даргомыжский. Лицо его бледно и взволнованно. Карцев и члены дирекции молчат насупившись.

— О-о! Вы только не волнуйтесь, дорогой господин Даргомыжский, вы больны, — ласково говорит великая княгиня.

— Да, ваше высочество! — отвечает Даргомыжский, тяжело дыша. — Но петух еще не прокричал! — продолжает он резким, высоким голосом. — Полночь еще не наступила!.. И прежде чем усну «холодным сном могилы», — он медленно подходит к Карцеву и, глядя на него в упор, продолжает: — я заставляю вас уступить!.. Отступить!! С высочайшего разрешения, надеюсь... — Даргомыжский низко кланяется великой княгине. — Пока я жив, Балакирев не уйдет...

— О, что вы! — спешит успокоить его великая княгиня, сдерживая раздражение. — Откуда у вас эти черные мысли?

— Пока я жив... — чуть слышно повторяет Даргомыжский. Он прижимает руку к сердцу, шатается...

— О, ему нехорошо, — говорит в испуге великая княгиня. — Усадите же его, господа!

— Да, ваше высочество, вы правы, нехорошо, — медленно говорит Даргомыжский, не садясь в пододвинутое кресло.

В дверях появляется Балакирев. Лицо его мрачно. С удив-

лением и тревогой останавливает он свой взгляд на Даргомыжском.

— Совсем, совсем нехорошо, — с трудом договаривает Даргомыжский.

...В сером петербургском тумане бежит Мусоргский в распахнутой шинели, запорошенной снегом. Свернув за угол, он едва не сбивает с ног столкнувшегося с ним прохожего и опрометью взбегает по ступеням «Бесплатной школы».

— Балакирев здесь? — порывисто спрашивает он в вестибюле швейцара Ивана Матвеевича, сбрасывая форменную чиновничью шинель и фуражку.

— Никак нет. Случилось что, Модест Петрович?

— Ого! — таинственно восклицает Мусоргский, смеясь и шутливо тормоша швейцара.

— Что же?

— Секрет... — еще таинственнее говорит Мусоргский. — Да, Иван Матвеевич я в департаменте жалованье получил, — вспоминает он и вынимает из кармана деньги. — Вот мой должок.

— Ну, успеется, успеется, право!.. Идите, идите, — торопит Иван Матвеевич Мусоргского. — «Женитьбу» вашу репетируют!

— «Женитьбу»? Хорошо! — Мусоргский быстро взбегает по лестнице.

...В зале «Бесплатной школы» репетируется «Женитьба» Мусоргского. Площадка освещена театральными плашками, установленными в рампе. От топящейся печки падают на лица и предметы теплые красноватые отсветы.

Вокруг площадки разместились ученики и ученицы школы. Они сидят на стульях, на подоконниках, толпятся вокруг рояля. За роялем, у которого горит лампа, Надежда Пургольд, «наш милый оркестр», как ласково называет ее Мусоргский. Рядом с Надеждой — Корсаков, он в форме морского офицера.

Посреди комнаты стоит раскрасневшаяся Александра. Обе сестры выросли и еще больше похорошели за эти годы. Александра режиссирует.

Возмужавший, широкоплечий Мельников, теперь уже один из солистов школы, поет Подколесина:

— «А! Здравствуй, здравствуй, Фекла Ивановна!..»

Возле топящейся печки Платонова с улыбкой следит за репетицией. В зал тихо, на цыпочках, чтобы не помешать репетиции, входит Мусоргский, пробирается к Платоновой, целует ее руку и, сев рядом с нею у печки, смотрит на происходящее на сцене.

— Не так! Совсем не так... Остановись, Надежда! — сердито кричит Александра и прерывает Мельникова. — Вы опять слишком поете!

Мельников с высоты своего огромного роста с беспомощным видом смотрит на свою маленькую «мучительницу».

— Да, да... — смущенно соглашается он.

— А по-моему, Саша слишком придирается, — шепчет Надежда Корсакову. Он, явно увлеченный Надеждой, сочувственно улыбается ей.

Александра с жаром убеждает Мельникова:

— Ведь Модест Петрович учил нас петь, как говорят в жизни. Как можно не понимать Мусоргского?! — говорит она страстно и восторженно.

— Саша!.. — с улыбкой сдерживает сестру Надежда, незаметно указав ей глазами на Мусоргского.

Александра смущается. Потом быстро накидывает на плечи пеструю шаль, повязывает голову платком свахи.

— Начнем сначала! — говорит она, обращаясь к Надежде. — Мельников, повторим!

Репетиция продолжается. Надежда снова играет вступление. Мельников — Подколесин, развалившись, полулежит на диване. Заспанный слуга Степан открывает дверь и пропускает в комнату бойкую сваху — Александру.

— «А! Здравствуй, здравствуй, Фекла Ивановна!» —

начинает Мельников, поправляя наклеенные бакенбарды.— «Ну, так как же, как? Как бишь ее, Меланья?»

— «Агафья Тихоновна»,— вкрадчиво отвечает сваха — Александра, присаживаясь к Подколесину.

— «И верно, какая-нибудь сорокалетняя дева?» — с недоверием вопрошает Подколесин — Мельников.

— «Уж вот нет, так нет! То есть как женитесь, так каждый день будете похваливать да благодарить»,— с блеском и юмором поет сваха.

— «Да ты врешь, Фекла Ивановна»,— лениво возражает Мельников.

— «Устарела я, отец мой, чтобы врать!» — топнув ногой, отрезает сваха.— «Пес врет!» — сочно и задорно завершает сцену Александра.

Все рассмеялись аплодируя.

— Браво! — одобряет, любуясь ею, Мусоргский.

— Чудесно, Сашенька! — аплодирует Платонова и, продолжая смеяться, поворачивается к Модесту Петровичу.— Скоро и я научусь петь, как говорят в жизни, и даже, как заикаются. Не верите? Ей-богу!

— Вот и прекрасно.— Мусоргский с таинственным видом наклоняется к ней.— А все же, по чести, признайтесь: ведь наскучил вам сей «разговор без зазрения совести»?

— Не сказала бы,— отвечает, улыбаясь, Юлия Федоровна.— Но если вы когда-нибудь закончите второй акт и вручите мне Агафью Тихоновну,— лукаво продолжает она,— уж позвольте ей во все горло распеться, как невесте полагается.

Мусоргский со знакомым озорным огоньком в глазах:

— А не будет невесты, сударыня!

— Как?

— Н-да! Не будет и второго акта! — говорит Мусоргский еще громче и веселее.

— Как, Модест Петрович, почему же? — раздаются удивленные возгласы учеников.

— Сашенька, милая! Друзья мои! — Мусоргский жестом подзывает к себе исполнителей «Женитьбы». — Не пора ли нам с вами дальше двинуться? Сроки наших упражнений кончаются...

— Так, так, — ждет заинтересованный Корсаков.

— Я не понимаю, Модест Петрович... — с растерянным видом перебивает Александра.

Мусоргский подходит к ней и берет ее руку.

— Вот наша Юлия Федоровна петь хочет, — поясняет Мусоргский, — да ведь если и вас, Сашенька, всерьез расспросить, верно и вам не только петь, «как говорят», но и петь, как поется, весело, яростно петь охота... Не краснейте!

— Да, Модест Петрович, но только... я хочу... вы не думайте, я понимаю... Надо и в музыке слово сделать правдивым. А то ведь еще во многих операх...

— ...И мысль и слова извращены вовсе, — подхватывает Мусоргский. — Не так ли, Юлия Федоровна? Ведь вам лучше знать.

— Ох, и знаю, — вздыхает Платонова. — Даже прощаясь с жизнью, вчера так пела: «Я уми-уми-ра-а-аю...» — поет она, патетически воздев к небу руки и сопровождая фразу головоломными трелями во вкусе итальянских примадонн того времени. Все смеются, аплодируют.

— Нет, уж лучше разговаривать, как в «Женитьбе», — с критическим видом заявляет Александра, — чем эти «уми-уми...»

— Именно, — поддерживает ее Мельников.

— Вот потому-то, друзья мои, мы попросили помощи у великого Гоголя, чтобы в каждое слово, вздох и даже междометие по правде вслушаться! — говорит Мусоргский. — А теперь очередь и за музыкой! Оперы на одном разговоре не написать. Народа этак не согреешь, души его не потрясешь, а время пришло! Не так ли? — повернулся он снова к Корсакову.

— Аплодирую, Модест! — отвечает Корсаков.

— Ну вот и хорошо,— говорит в радостном возбуждении Мусоргский.— И тогда, родные мои, мы вспомняем добрым словом вот эти часы учения и проб...

— Новую оперу затеваете? Да? — вопросы летят со всех сторон.

— Время пришло. На широкий музыкальный простор двинемся.— Мусоргский, улыбаясь, вынимает из кармана небольшой томик.— А вот и тема!

— Что за вавилонское столпотворение? — слышался сзади резкий окрик Балакирева. Незаметно вошедший, он стоит, нервно постукивая дирижерской палочкой по руке. — Здесь не спектакль и смотреть еще нечего,— обращается он к ученикам.

Комната быстро пустеет. Удивленные необычным видом Балакирева, поспешно выходят ученики.

— Надеюсь, вы нынче не заняты в Мариинском? — спрашивает Балакирев Платонову.

— Нет, Милий Алексеевич, я жду вас,— отвечает встревоженная его тоном Платонова.

— Хорошо, будем репетировать с хором,— бросает он уходя.

— И я с нетерпением жду вас! — останавливает его Мусоргский.— Я хотел...

— Я не ослышался? — резко перебивает его Балакирев.— Мне показалось, вы собираетесь писать новую оперу?

— Да, Милий, да...

— Опять новую?

— Вы не знаете, какое счастье...

— «Эдип» брошен,— прерывает его Балакирев,— «Саламбо», или «Ливийцы» ваши пресловутые брошены, и «Женитьба» тоже, повидимому, уже брошена...

— Милий, вы не знаете...— продолжает с сияющими глазами взволнованный и счастливый Мусоргский.

— Это вы не знаете, а не я! — перебивает его запальчиво Балакирев и, хлопнув дверь, уходит в свой кабинет.

Мусоргский устремляется за ним, хочет его догнать.

— Не ходите, Модест! — останавливает Мусоргского Корсаков, оскорбленный за него. — Не ходите!

— Но ведь я должен объяснить ему... — и Мусоргский выходит.

— Как он может так разговаривать с Мусоргским?! — с гневом говорит Александра. На глазах ее слезы.

Балакирев разбирает папки с бумагами на своем письменном столе.

— Милый Алексеевич, — подходит к нему Цезарь Кюи, — опять неприятности в Музыкальном обществе?

— Никаких, — отрезает Балакирев, нервно перелистывая бумаги.

— Милый, уделите мне две минуты, прошу вас, — говорит входящий в кабинет Мусоргский.

— Ни одной! — Балакирев резко отодвигает папки с делами. — У меня от ваших затей и всего прочего башка трещит.

Мусоргский, вспыхнув:

— Простите меня, Милый, но ваш нрав в последнее время... — и Мусоргский, круто повернувшись, выходит из кабинета.

— Я с вами, Модест, — догоняет его Корсаков в коридоре.

— Что это за опера, Юлия Федоровна? — жадно допытывается у Платоновой Мельников.

Платонова медленно раскрывает томик, забытый на рояле Мусоргским. На открытой странице книги красным карандашом подчеркнуто: *А. С. Пушкин «Борис Годунов»*.

Зимний вечер. В туманной мгле желтые пятна фонарей. Едва проступают очертания домов, дворцов, мостов Петер-

бурга. По набережной Невы идут Мусоргский и Корсаков. Они идут мимо замерзших, покрытых инеем кораблей, мачт, уходящих в темное небо. Падает снег. Мокрые хлопья его покрывают шинели, назойливо лезут за воротники, залепляют глаза. Но друзья продолжают шагать, сами не зная куда!

— Нет, чем больше я вас слушаю, Модест, тем больше радуюсь за вас,— говорит Мусоргскому увлеченный Корсаков.— «Борис Годунов»!.. Это такого калибра замысел! Я уверен, что если бы Милий...

— Не говорите мне о нем! — перебивает Мусоргский.— «То бросил, того не дописал», — повторяет он, копируя Балакирева.— Милий упрекает меня в непостоянстве. Но, думается, справедливее бы считать меня автором одной и той же темы.

— Согласен, Модест! — горячо подтверждает Корсаков.— Народ и судьбы его! Ведь это еще с каких пор вас занимало.

— Спасибо за поддержку, друг! — благодарит Мусоргский.— Да... Но прежде чем достичь заветной цели, пришлось, однако, поблуждать немало.

Они подходят к Медному всаднику. Куда-то в ночь, в туман снегов мчится петровский конь.

— Дорогой Пушкин! — с волнением говорит Мусоргский.— Не будешь ли в обиде, что некий Мусоргский дерзнул... Помните, Корсик? «Художник выносит миру свой приговор», — цитирует он Чернышевского.— Да... Пора и нам крупно побеседовать с людьми!

— Я понимаю вас,— тихо говорит Корсаков.— Где бы я ни был, какие бы моря ни проходил, я всегда был душою с вами.

Сами того не замечая, они ходят вокруг памятника. Мягкий, пушистый падает снег. Корсаков вдруг останавливается и, улыбаясь, смотрит на Мусоргского.

— Модест, хотите поселиться вместе? — неожиданно предлагает он.

— Славно придумано, «бурь морских кавалер»! — обрадовался Мусоргский. — Преславно! — И он крепко пожимает руку Корсакову.

— Поселимся мы, два старых холостяка... — с шутливой важностью говорит Корсаков. — Ведь нам с вами около пятидесяти лет вместе выходит?..

— Да, да, — улыбается Мусоргский. — И будем работать! И они снова шагают по заснеженной площади...

Часы били полночь, когда Мусоргский тихо, на цыпочках вошел в кабинет Стасова. В большой комнате по углам полумрак. Огромный письменный стол освещен мягким светом лампы под зеленым абажуром. Стасов чуть виден за наваленными в беспорядке книгами, бумагами и рукописями.

— Пожаловали, полуночник неприкаянный? — взглядывает он на Мусоргского из-под нависших бровей.

— Владимир Васильевич, у меня и Карамзин и Маржерет... — говорит Мусоргский. — До потолка разных книжиц... И все же, нет ли еще чего-нибудь для моего «Бориса»?

— Говорите втрое тише, — требует Стасов, — и не делайте беспорядка на столе!

— Слушаю-с, — улыбается Мусоргский и в нетерпении берет со стола какую-то книжку.

— Это не вам! — отнимает ее Стасов. — «Слово о полку Игореве»... А хорошую тему дарю нашему алхимику!

Мусоргский открыл было большую красную книгу.

— Это Корсакову. Для «Псковитянки», — снова отнимает Стасов. Он пододвигает Мусоргскому большую стопку книг и раскрывает огромную папку эстампов и цветных гравюр. — А вот это вам, обозревайте: царь Борис, Марина Мнишек, Самозванец, а тут гравюры: юродивые, монахи, крестьяне, бабы, бояре, поляки и прочие...

— Ух! — вскрикивает обрадованный Мусоргский и тут же, испугавшись, закрывает ладонью рот.

Стасов с торжественным видом благоговейно вручает ему несколько нотных листов:

— А вот это — подлинные две песни. Варлааму вашему в корчму.

— Володимир, свет Васильевич! — отвечает Мусоргский низкий земной поклон. — Дорогой вы мой! Да я счастливейший человек на земле! — и Мусоргский порывисто обнимает Стасова.

— Очень рад, — подчеркнуто сухо говорит Стасов и оглядывается. — Что, Милий, вы, кажется, не спите?

Мусоргский тоже растеряннo оглянулся. Он только сейчас увидел лежащего на диване и укрытого пледом Балакирева.

— Да нет, — отвечает Балакирев. — Я было спал как убитый, но меня пробудил голос «счастливейшего человека на земле»!

— До свидания, — торопливо пробормотал Мусоргский и, захватив со стола книги, направился к двери.

— Что, сердитесь? — останавливает его Балакирев.

Мусоргский молчит.

— На мой характер сердитесь? — подходит к нему Балакирев.

— Сиятельные его до белого каления довели и из-за вас, заметьте. А вы... — укоризненно качает головой Стасов.

— Опять, значит? — заволновался Мусоргский. — А я-то... Простите, Милий, я перед вами в неоплатном долгу. Вы величайший композитор, и ради нас вы себя...

— Довольно! — сурово перебивает Балакирев. — ...Я тоже о «Борисе» вашем думаю...

Он пристально и испытующе смотрит на Мусоргского.

— Что же, пора! — Балакирев стремительно подходит к роялю, берет несколько аккордов. — Я от вас давно большого дерзания жду. Еще вон с каких пор.

И он начинает играть тему импровизации Мусоргского, которую тот исполнял когда-то далекой весной на вечере у Балакирева.

— Неужели помните? — растроганно говорит Мусоргский.

Балакирев продолжает играть.

— Шагайте, Мусорянин! — задумчиво произносит Ста-сов.

Импровизация Мусоргского, которую играет Балакирев, переходит в музыку пролога к опере «Борис Годунов».

Звучит музыка пролога к опере «Борис Годунов».

Суровый сводчатый зал департамента. Длинные тени от висящей под потолком лампы фантастическими узорами ложатся на стены, на пол. Департамент пуст. Лишь несколько чиновников работают вечером. За одним из столов — Мусоргский. Папки с делами отложены. Перед ним испещренный пометками пушкинский томик, раскрытые книги, нотные листы. Мусоргский пишет музыку пролога. Она льется, полная силы и тревоги. Он пишет с лихорадочной быстротой, воротник его мундира расстегнут, волосы в беспорядке.

За соседним столом — пожилой чиновник Дормидонт Иванович, приятель и сослуживец Мусоргского по департаменту, маленький, рыженький человечек. Азарт, с которым работает Мусоргский, передается и ему. Он тоже отодвинул свои папки, смотрит на композитора. Мусоргский напевает. Но слышится не только голос — звучит оркестр, поет хор.

Вдруг Мусоргский останавливается, задумывается. Пристально смотрит на горящую перед ним свечу. Дрожит и колеблется ее пламя...

И в зыбком желтоватом пламени как бы тают стены департамента, возникают в полумраке очертания башен древнего Новодевичьего монастыря. Встает серо-синяя с желтыми отсветами зимняя заря. Перед иконой над воротами горят лампы. Яркими пятнами краснеют кафтаны стрельцов. Из ворот монастыря выходят бояре.

...Дородный чернобородый пристав расхаживает в толпе народа.

— «Ну, что же вы? Что же вы идолами стали! Живо на колени!» — Пристав проходит сквозь толпу, замахивается плетью. — «Ну же, да ну! Эко чертово отродье!»

Народ опускается на колени причитая:

— «На кого ты нас покидаешь, отец наш?! Смилуйся, смилуйся, боярин-батюшка!..»

В толпе слышится голос:

— «Митюх, а Митюх, чего орем?»

— «Вона! Почему я знаю?..» — недоумевает курносый парень.

Другой, постарше, наставительным тоном поясняет:

— «Царя на Руси хотим поставить!..»

Мерцает желтое пламя свечи. Задумчиво прислушивается Мусоргский к замирающим тактам музыки. И вот уже расплылись в тумане древние башни Новодевичьего монастыря, и снова встают холодные сводчатые стены департамента.

...Мусоргский откладывает перо, закрывает нотную тетрадь и поворачивается к Дормидонту:

— Как, Дормидонт Иванович, понял?

— Почему не понять? — с достоинством отвечает Дормидонт Иванович. — По Пушкину сцена у Новодевичьего... Борис в монастыре скрылся, а народ пригнали умолять его... Злодея Годунова из-под палки на трон выбирают.

— Так, так, — радуется ответу Мусоргский. — А чем злодей? — быстро спрашивает он.

Дормидонт Иванович поясняет неторопливо, наливая чай из большого чайника:

— Дмитрия царевича убил, сам трон занял, а народ за Самозванцем повалил. Так, что ли?

— Так, да не так, — задумчиво, растягивая слова, говорит Мусоргский. — Не в том суть.

— А в чем же? — Дормидонт Иванович с интересом ждет ответа.

Мусоргский встал. Уже весь в своих думах широко шагает он между столами по пустому залу. Чиновники с удивлением поглядывают на него.

— Народ не только за убийство царевича от Бориса отвернулся, — говорит негромко Дормидонту Ивановичу Мусоргский. — Во имя свое возвышался Борис, в беспросветную кабалу ввергая людишек для блага бояр и присных. И обрек его народ страшной каре — одиночеству, с совестью своей наедине. И восстал на него... — шепотом заканчивает он.

Дормидонт взглянул на портрет Александра II в золоченой раме, тускло поблескивающей в полутьме, и притих.

Мусоргский продолжает ходить. Качнулась лампа, тени заметались по углам. Звучат горячие слова Мусоргского:

— Народ!.. Сплю и вижу его. Бодрствую — мерещится он мне. Большой, не прикрашенный, без сусального. — Мусоргский останавливается, берет со стола написанные ноты. — Нет! Не будешь ты у меня оперным хором, подпевающим героям. Будешь ты сам героем. Будешь в опере моей главным действующим лицом... Неслыханно, страшно, — негромко говорит он, — а хорошо!

Мусоргский охвачен творческим порывом. Он уже не обращается к Дормидонту, он словно забыл об его присутствии. Мощно звучит музыка «Бориса Годунова».

Потекли с веселым колокольным звоном ручьи... Весна...

В комнате, где живут Мусоргский и Корсаков, все залито солнцем. На стене висит написанный Мусоргским регламент занятий: от 8 до 12 — Мусоргский, от 12 до 4 — Корсаков.

В раскрытое окно видны крыши, верхушки зазеленевших деревьев, легкие весенние облака. У окна Мусоргский. Ветер играет его волосами, развевает легкие занавески. Звучит ариозо Бориса Годунова.

Поет Мельников. Аккомпанирует Корсаков.

Скорбит душа, какой-то страх невольный
Зловещим предчувствием сковал мне сердце.
О праведник, о мой отец державный... —

напряженно, с трагическим пафосом поет Мельников.

— Нет, нет,— с досадой прерывает его Мусоргский и идет к роялю.— Благородней, Ваня!..— говорит он своему любимцу.— Это первая встреча твоя и народа... Царь народом не принят. Отсюда его страх, но Борис не жалок. Он величественен и в эту минуту.

И, присев к роялю, Мусоргский поет сам. Проникновенно звучит его голос:

Скорбит душа, какой-то страх невольный
Зловещим предчувствием сковал мне сердце.
О праведник, о мой отец державный,
Воззри с небес на слезы верных слуг
И ниспошли ты мне священное на власть
Благословенье...

— И как это у вас получается! — не выдерживает восхищенный Мельников.

Корсаков молчит. Он чем-то раздосадован.

— Вот именно, величественно, благородно...— повторяет он слова Мусоргского.— Но почему такое противоречие? — говорит он огорченно.— Коронация,— а в оркестровке такая скромность выражения? Что если этак, Модест?

И Корсаков играет свой вариант аккомпанемента. Из-под его тонких пальцев льется такой торжествующе радостный колокольный перезвон, словно благовестят звонницы всех сорока сороков церквей столицы Московского государства.

— Адмирал Корсиканский! Неправда будет! — останавливает своего друга Мусоргский.— Бориса из-под палки выбирают, какая уж тут пышность оркестровки?

— И все же, Модест,— настаивает Корсаков,— музыка должна быть музыкой.

— А по-моему, жизнь есть музыка. И в музыке ей звучать.

Часы начинают бить двенадцать.

— Баста! — прерывает занятия Мусоргский, вспомнив расписание. — Мое время истекло, — и он снимает с рояля ноты. — Теперь ваше, Корсик. Есть что-нибудь новое?

— Имеется, — улыбается Корсаков. — Тема дуэта для «Псковитянки».

— Любовного? — спрашивает Мельников.

Корсаков, утвердительно кивая головой, подходит к роялю.

— Да... то есть, нет... в общем, да.

Мусоргский, прилегший на кровать и приготовившийся слушать, предупреждает с шутливой угрозой:

— Ох, не оттесните любовью, вольнолюбивый Псков!

— При вас такое не случится, не позволите, — улыбается Корсаков, играя свой дуэт.

— Люблю Корсакова! — с нежностью говорит Мусоргский. — Светло от него! Тоска тает... Луга на Руси цветут... И люди красивей!..

Ясный солнечный день. Светлая дача Стасова тонет в зелени и цветах. Слышны смех, спорящие оживленные голоса. На открытой веранде гости: Платонова, тенор Комиссаржевский, маститый Осип Петров, сестры Пургольд, Александра и Надежда, в ярких светлых платьях, Корсаков, Мусоргский. Мусоргский горячо спорит с Кюи.

— Любовный дуэт Корсакова чудесен! — восторгается Кюи.

— Еще бы! — поддерживает и Мусоргский.

Кюи, почти негодуя, разводит руками:

— Так почему же вы, Модест, попробовать не хотите?!

— Да зачем же мне в «Борисе» любовь? — невозмутимо говорит Мусоргский.

Александра сочувственно улыбается.

Знаменитый тенор Комиссаржевский с обиженным видом перелистывает пушкинский томик:

— Как зачем?!. Марина и Самозванец, чего лучше? Что я за несчастный тенор? Петь у вас нечего! В келье — раз. Ну и в корчме — два. Только и всего!

Мусоргский смеясь:

— Не нужно мне больше вашего Самозванца. Не в нем, а в его имени суть. Зачем нам в его сердечные дела впутываться? — Мусоргский оглядывается на Александру. Она смеется. — По-моему, нескромно даже...

— Премьер, что поделаешь! — поддразнивает с усмешкой Платонова товарища по сцене. — Да и вы, Цезарь Антонович. Чего вы все за Марину уцепились? Как будто на ней свет клином сошелся?

— Молодец! — восхищается Петров. — Вот какие нынче примадонны пошли! Другая бы за роль глаза выцарапала.

Взрывом смеха отвечают все на реплику Осипа Афанасьевича.

— Препкланяюсь! — Мусоргский целует руку Юлии Федоровны.

— Нет, видно, не суждено мне петь у вас, — вздыхает Платонова.

— Однако, Модест, — настаивает Кюи, — без Марины и при народных хорах в неумеренных дозах исторический трактат выйдет, а опера — ни-ни!

Мусоргский обернулся к нему с веселым вызовом:

— Ежели народ мой выйдет, то это, пожалуй, превыше всего. Вот они мои арии! В самой гуще народа подслушаны. А ну-ка, «наш милый оркестр», — обращается Мусоргский к Надежде, — садитесь.

Надежда садится за рояль. Мусоргский торопливо шепчет ей что-то на ухо и подбегает к Петрову.

— Осип Афанасьевич! Представьте нам Варлаама. Да так, чтобы небо и землю качнуло!

Освобождая место на веранде, Мусоргский, Александра, Платонова и Мельников с шутками переносят в сторону накрытый стол.

— Осторожней, осторожней. Вот так!

Из-за деревьев появляется сам хозяин дачи Стасов. В русской вышитой рубашке, огромный, величественный, веселый поднимается он на веранду.

— А ну, как вы тут без меня обходитесь?

— Хозяйничаем, как у себя дома,— отвечает Платонова.

— А я сам к себе на дачу не выберусь,— смеется Стасов.— В публичной библиотеке служба, в редакциях толчея, археология, музыка, живопись. Да пропади они пропадом!

Платонова подает ему стакан молока.

— Спасибо! — Стасов с удовольствием выпивает молоко и поворачивается к Петрову, который уже надел камилавку Варлаама.— А-а! Вот оно что. Продолжаем наше действо!

Надежда начинает играть вступление. Седовласый Осип Петров, подбоченившись, выходит вперед, и грозным весельем звучит знаменитая песня Варлаама:

Как во городе было, во Казани,
Грозный царь пировал да веселился.
Он татарей бил нещадно,
Чтоб им было неповадно
Вдоль по Руси гулять.
Царь подходом подходил
Под Казань-городок.
Он подкопы подкопал под Казанку-реку...

Мусоргский не выдерживает, вступает тоже. И песня Варлаама исполняется великим артистом и великим композитором:

Уж как стал царь пушкарей сзывать,
Пушкарей все зажигальщиков,
Задымилась свечка воску ярова,
Подходил молодой пушкарь-от к бочечке...
А и с порохом-то бочка закружилась,
Ой, по подкопам покати́лась...

Последние слова неожиданно подхватывает третий голос. Это Стасов. И обнявшись все вместе, втроем, широко, размашисто, богатырски заканчивают они песню:

Ой, по подкопам покати́лася...
Да и хлопнула...

Смех, аплодисменты, восторженные возгласы слушателей награждают исполнителей.

...Мусоргский стоит посреди лаборатории Бородина. Поблескивают в шкафу склянки и пузырьки с химикалиями. Бородин в кожаном фартуке, в белой ермолке, и борода его как-то особенно аккуратно сегодня подстрижена. Он следит за клубящимся в реторте рыжим паром и слушает Мусоргского.

— Браво, браво, Моденька! — восклицает Бородин с одобрением и торжественно бросает щепотку какого-то порошка в чашечку, стоящую на столе.

Неожиданная яркая вспышка, и клубы белого дыма ослепляют Мусоргского.

— Что это вы за Везувий устраиваете, профессор? — смеется он.

— Иллюминацию в вашу честь! — с шутливым поклоном отвечает Бородин.

Мусоргский столь же шутливо расшаркивается.

— Рождается народная музыкальная драма, — уже серьезно провозглашает Бородин.

— А Цезарь боится, — с досадой говорит Мусоргский. — Вот вы сами с вашим «Игорем» с головой в народ ушли, вы-то понять должны.

— Да не слушайте вы Цезаря, — успокаивает его Бородин. — Наш эстет и придира любит народ... в некотором отвлечении.

— Вот, вот, вот! — кивает Мусоргский.

— А вы, Моденька... — Бородин вдруг умолкает, внимательно следя за опытом.

— Да бросьте вы хоть на минутку вашу химию! — досадует Мусоргский.

— Не могу, взорвется, — говорит Бородин, не отрывая взгляда от реторты.

— А вы ее наовсе бросьте.

— Химики не советуют.

Мусоргский подходит к Бородину и с ласковой любовной усмешкой оглядывает его:

— Химик Бородин! Профессор Бородин! Ученый Бородин! Беззаветный обучатель юношей, открыватель женских курсов Бородин!.. Сколько, сколько добрых дел у моего гуманиста милого, ангела и добряка! — Мусоргский в умилении даже складывает руки. — А Игоря-князя, смотрите, люди добрые, никак из плена не вызволит! — И он сокрушенно качает головой. — И все-таки признайтесь, — спрашивает он шепотом Бородина, — не снится ли вам, ну хоть разок в неделю, что вы превыше всего — композитор Бородин.

— Снится, — хитро прищуривает хорошие смеющиеся глаза Бородин. — Под воскресенье снится. Я и есть композитор по воскресеньям!

— Однако, — тут же оправдывается Бородин, — симфонию-то сдал к сроку — даже Милий умилился... А «Игорь»... — Бородин со вздохом оглядывается на какие-то ноты, лежащие на столе.

Мусоргский перехватывает его взгляд.

— О-о! Что-то новое? — он рассматривает залитые химикалиями нотные листы. Лицо его становится сосредоточенным. Он напевает, сначала вполголоса, затем громче:

О дайте, дайте мне свободу,
Я свой позор сумею искупить.
Спасу я честь свою и славу,
Я Русь от недругов спасу...

— Не нужно, Моденька... Это не окончено еще,— протестует автор.

— Эх, да ведь это же богатырская ария! — горячо перебивает Мусоргский и обнимает друга.— К роялю, Бородин! Рога трубят, как говорит наш Даргомыжский. Пора нам всем перед народом ответ держать.

Заполнен слушателями зал «Бесплатной музыкальной школы». Ученики исполняют сцену «У Василия Блаженного» из оперы «Борис Годунов» Мусоргского. Партию Бориса исполняет Мельников, Юродивого — студент Ильин.

За дирижерским пультом Мусоргский. Он необычно серьезен и собран сегодня. В последний раз оглядывает он свой оркестр — все это ученики Балакирева — и поднимает дирижерскую палочку...

Раздвигается занавес. В синевато-сером зимнем сумраке встает храм Василия Блаженного. Яркими световыми бликами освещен вход в храм. На крыльце толпится народ: мужики, бабы в темных одеждах, платках, сермягах ждут царского выхода. Стрельцы расчищают дорогу, торжественно выступают рынды в сверкающих белизной кафтанах с серебряными топориками в руках. По ступенькам крыльца медленно спускается царь Борис, его сопровождают бояре. Парча, тяжелый бархат, меха царской одежды и шуб бояр резко выделяются среди серо-коричневой нищей толпы.

Звучит тема обманутого и голодного народа.

Тянутся к царю десятки умоляющих рук. Среди баб на первом плане Александра в строгой черной одежде послушницы.

Государь-батюшка! Христа ради,
Наш батюшка, подай нам
Хлеба, хлеба дай голодным...

Все громче, пронзительнее звучит хор — вопль народа:

Хлеба, хлеба! Голодным хлеба!

С ужасом отшатывается царь от голодных требовательных глаз, от протянутых к нему молящих и угрожающих рук.

А-а-а...—

доносится пронзительный плач Юродивого. Это голос скорби народной.

Одинаково взволнованы и исполнители и слушатели.

Даргомыжский в кресле у окна. Шторы задернуты, чтобы не простудить больного. Под ноги поставлена скамеечка. За Даргомыжским стоят Балакирев, Стасов, Юлия Платонова. Она с беспокойством смотрит на Даргомыжского — ему нельзя волноваться, а изможденное болезнью лицо его сейчас слишком взволнованно и возбужденно.

...Стрелец ударяет Юродивого древком секиры. В ужасе отшатывается народ.

Борис! Борис, обидели юродивого!

А-а-а...—

стонет блаженный.

Борис — Мельников:

О чем он плачет?

Жалуетя Борису Юродивый:

Мальчишки отняли копеечку.

Подползая к царю, шепчет он:

Вели-ка их зарезать,
Как ты зарезал маленького царевича...

Отшатнулся царь.

Шуйский метнулся к Юродивому:

Молчи, дурак! Схватите дурака!

Стрельцы хватают Юродивого.

Суровым, скорбным жестом останавливает их Борис:

Не троньте... Молись за меня, блаженный...

Юродивый тихо, в великой печали, отвечает ему:

Нет, Борис! Нельзя, нельзя, Борис!

Нельзя молиться за царя-ирода:

Богородица не велит...

На сцене пауза.

Даргомыжский откидывается на спинку кресла, прижимает руку к сердцу.

Юлия Платонова склоняется к нему:

— Что с вами?

Стасов быстро приоткрывает окно. Мусоргский оборачивается.

— Тс-с... — Даргомыжский улыбается ему. — Прошло, уже прошло...

Мусоргский снова поднял дирижерскую палочку. Сцена продолжается.

Поет Юродивый, опускаясь на ступени храма:

Лейтесь, лейтесь, слезы горькие!

Плачь, плачь, душа православная...

Скоро враг придет и настанет тьма,

Темень темная, непроглядная.

Горе, горе Руси!

Плачь, плачь, русский люд, голодный люд...

Даргомыжский полулежит в кресле. Изможденное лицо его радостно и светло.

— Нет, не грустно от этого плача, а весело, — шепчет Даргомыжский. — За русское искусство весело!.. Ну и Мусоргский!..

Звучит песня Юродивого. Сжав крепко губы, дирижирует Мусоргский.

Музыкальная тема «Бориса Годунова» постепенно стихает и замирает.

Падает снег. Траурное газетное сообщение под портретом Даргомыжского:

5 января 1869 года
великий русский композитор
А. С. Д а р г о м ы ж с к и й
скончался

Через год...

Обычная чинная тишина царит в приемной великой княгини в императорском Музыкальном обществе.

Директор императорских театров Гедеонов сидит в кресле возле маленького столика, перелистывая клави́р.

„БОРИС ГОДУНОВ“
Опера М. Мусоргского в 4-х действиях.
Год 1870

На первой странице рукой Мусоргского написано: «Я разумею народ как великую личность, одушевленную великой идеей...»

В глубине приемной несколько ожидающих негромко разговаривают. Комната освещена голубоватым светом ламп. Дверь открывается, молодой щеголеватый секретарь Елены Павловны подходит к Гедеонову:

- Простите, ваше превосходительство...
- Да? — чуть поворачивается в его сторону Гедеонов.
- Экстраординарное совещание уже началось. Прослушивают «Семинариста», произведение господина Мусоргского.

— Я подожду, молодой человек, — говорит Гедеонов и снова углубляется в клавир.

Поклонившись, секретарь отходит и впархивает в раззолоченную дверь кабинета. Тяжелыми пышными складками свисают бархатные портьеры. Пушистые ковры заглушают шум шагов.

Кабинет выглядит сегодня не совсем обычно. Часть присутствующих сгруппировалась у рояля. Другие окружают Елену Павловну, сидящую в глубоком кресле. По обе стороны от нее сидят две светские дамы.

Лица присутствующих выражают полное недоумение.

Член дирекции композитор Ржевский за роялем. Аккомпанируя себе, он поет «Семинариста» Мусоргского:

Fascis, axis, funis, ensis,
fustis, vectis, vermis, mensis...
Ах ты Стеша, моя Стеша...

Лоснится толстое лицо стоящего у рояля фон Меца. Ржевский, посмеиваясь, продолжает исполнять «Семинариста»:

...Так тебя расцеловал бы,
Крепко-накрепко к сердцу прижал бы...

Уже одряхлевшая, но все еще молодящаяся Елена Павловна застывает в своем кресле.

— Шорт знает что! — цедит она сквозь зубы. Дамы тоже шокированы.

Ржевский продолжает:

А намерднись за молебном пресвятой и преподобной
И преславной Митродоре...
Я читал прокимен, глас шестый,
А на Стешу левым глазом все посматривал,
А на левый клирос все заглядывал да подмаргивал...

Елена Павловна в гневе откидывается на спинку кресла. Сквозь пудру на ее щеках проступают багровые пятна. Члены дирекции возмущенно переглядываются. Резким диссо-

нансом, издевательски звучит «Семинарист» Мусоргского в этом великокняжеском кабинете.

Ржевский продолжает петь точно и достаточно выразительно, хотя пожиманием плеч и брезгливым выражением лица дает понять, что «Семинарист» отнюдь не отвечает его собственным требованиям и вкусу.

Чертов батька все проведаль,
Меня в книжицу пометил,
И благословил владыко по шеям меня трикраты.
И долбил изо всей мочи мне в башку латынь указкой...
Orbis, annis et canalis, et canalis...

Предельно возмущенный Карцев встает и вопросительно смотрит на Елену Павловну.

— Довольно! — резко говорит великая княгиня, постукивая пальцами по мраморному столику.

Карцев поспешно идет к роялю и прерывает Ржевского. Все окружают Елену Павловну.

— Ваше высочество! Это ужасно! Кошунственно!

— Невероятно! — шушукаются, пожимая плечами, дамы. Елена Павловна возвещает величаво и безапелляционно:

— Это безобразная сатира, посягающая на наши приличия! Она справедливо запрещена цензурой и будет предана забвению.

— А вы знаете, ваше высочество, как высказался автор. — Гагин читает по бумажке, очевидно где-то услышанные им слова самого Мусоргского: — «Семинарист» мой против палочной премудрости создан, в защиту мелких людишек, а запрет его доказует, что музыканты из соловьев и лунных вздыхателей становятся членами человеческих обществ...»

Елена Павловна «тонко» улыбается.

— О, следует указать подобным авторам, — острит она, — что в достойном обществе им не место!..

Одобрительно, подобострастно смеются присутствующие.

— Наш новый вице-президент, прошу! — милостиво оборачивается великая княгиня к Карцеву.

Солидный Карцев в парадном мундире и орденах выпрямляется и, разглаживая бакенбарды, обращается ко всем.

— С соизволения ее высочества, — оповещает он, — вместо устранившегося ныне Балакирева к нам прибудет из Германии маститый капельмейстер господин Фердинанд Гиллер.

Общее одобрение.

— Стасов рвет и мечет, — с улыбкой добавляет Гагин.

— Он стал невыносим! — морщится Елена Павловна.

— Мы привлекаем его к суду за клевету, ваше высочество, — спешит угодливо поведать фон Мец.

Елена Павловна одобряет кивком головы.

— Да, кстати, — обращается она к Ржевскому. — Как фамилия автора этого ужасного «Семинариста»?

— Мусоргский, ваше высочество, — четко произносит Ржевский.

— О, я слышала, — усмехается Елена Павловна, — он, кажется, написал... оперу...

— Директор императорских театров, — говорит секретарь негромко, — хотел ознакомить вас с этой оперой, ваше высочество. Он уже ждет приема.

В приемной ждет Гедеонов, перелистывая клавир «Бориса Годунова».

Зал Окружного суда переполнен. Под старыми сводами николаевской стройки сегодня собралась необычная публика: известные ученые, общественные деятели, артисты, музыканты, певцы. Здесь Осип Петров и Платонова, художники-передвижники во главе с Ильей Репиным, профессора, студенты, курсистки, учащиеся «Бесплатной школы». Светлыми пятнами мелькают летние платья дам среди темнокоричневых и черных штатских костюмов и зеленых мундиров.

В публике оживление, раздаются смех, аплодисменты.

Сквозь шум слышится скрипучий голос судейского секретаря, монотонно читающего обвинительный акт:

— Обвиняется господин Стасов Владимир Васильевич, заведующий художественным отделом императорской Публичной библиотеки и критик по профессии, в клевете в печати. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» за номером сто пятьдесят четыре...

Стасов, монументальный, величественный, сидит на скамье подсудимых. Его лицо строго, брови нахмурены.

— ...в статье «Музыкальные лгуны» господин Стасов утверждает...

Смех в зале. Секретарь останавливается.

— Продолжайте, — кричит с места Цезарь Кюи. — Смеяться все равно будут.

Секретарь продолжает читать:

— ...что группа критиков газеты «Голос» злонамеренно травит композиторов так называемой «Могучей кучки», а это, по мнению истцов, является клеветой.

На скамье истцов трое. Элегантный Гагин, играя лорнетом и презрительно щурясь, оглядывает публику. Лицо Ржевского непроницаемо. Медлительный и меланхоличный профессор фон Мец сейчас нахохлен. Его лоснящаяся пухлощекая физиономия то и дело покрывается от волнения пятнами.

Маленький лысый судья из-под седеющих колючих бровей с опасением поглядывает на Стасова.

Секретарь читает:

— В той же статье господин Стасов угрожает неминуемым и полным уничтожением всем своим противникам.

Смех в зале.

— Спасибо, Стасов! — кричит с места Илья Репин.

Эта реплика вызывает еще большее оживление в зале. Судья звонит в колокольчик. Мусоргский, аплодируя Репину, наклоняется к Александре:

— Молодец Репин!

Мягкие каштановые волосы окаймляют одухотворенное лицо Репина с характерной острой бородкой и небольшими

усиками, слегка подкрученными вверх. Слушая чтение обвинительного акта, он то заразительно весело смеется, то лихорадочно действует карандашом. Кудрявый, очень молодой художник Молас с интересом посматривает на альбом, где Репин делает беглые зарисовки трех истцов.

Секретарь заканчивает чтение обвинительного акта:

— На основании вышеизложенного, господин Стасов Владимир Васильевич привлекается к судебной ответственности.

Опоздавшие Надежда и Корсаков садятся возле Мусоргского. Он оборачивается к Корсакову и быстро спрашивает:

— Было письмо из театра?

— Нет, при мне не было, — отрицательно качает головой Корсаков. — Я думаю...

— Значит, и сегодня не будет, — с нарочитым спокойствием говорит Мусоргский.

— Господин потерпевший, слово предоставляется вам, — объявляет судья.

Фон Мец поднимается с места и подходит к судейскому столу.

— Господа судьи! Господа! — начинает он тонким и слабым голосом. — Видите ли... я... К сожалению, я не совсем здоров... «Музыкальные лгуны»! — произносит он с обидой и укором...

Репин, хитро подмигивая Моласу и поглядывая на оратора, продолжает зарисовывать его в свой альбом.

— Это позорящее меня пятно... — продолжает дрожащим голосом фон Мец, — это... — Тут он неожиданно заканчивает свое выступление; пошатываясь и вытирая на ходу носовым платком разгоряченное лицо, идет к своему месту.

Дружный смех зрителей провожает первого истца.

— Какова фигура, а? — качает головой Мусоргский. Озорной огонек загорелся в его глазах. — Нет, какова фигура! Тяжко раненный младенец! — говорит он и быстро достает из кармана карандаш.

Александра с любопытством смотрит на Мусоргского. Он что-то записывает в нотной тетради.

Слышен голос судьи:

— Господин Ржевский, что вы желаете сообщить суду?

Ржевский сменяет у судейского стола своего незадачливого партнера. В его позе и откинутой назад голове с пышной седой шевелюрой высокомерный вызов.

— Господа судьи! Вина обвиняемого очевидна,— начинает он звучным голосом.— Защищая своих подопечных, с трогательным простодушием уверовав в каждого из них, господин Стасов пришел в полное исступление. Он тащит их так называемую русскую музыку на первое место в Европе. Но увы и к прискорбию, господа, к этому нет еще основания,— с чувством продолжает Ржевский.— Мы можем оказаться посмешищем в глазах той же Европы!.. Тщетно пытались мы их урезонить! Тщетно! И за это,— заканчивает он с пафосом,— обозвать нас лгунами мог только клеветник!

В зале гул возмущения. Судья звонит в колокольчик.

— Негодяи! — говорит сквозь зубы Корсаков.

— Ужасные! — возмущается Надежда.

Гагин в ажиотаже кричит со скамьи истцов:

— Изгнание Балакирева из императорского Музыкального общества доказывает нашу правоту. И все согласятся с этим!

Публика в зале негодует.

— Что? — вне себя от гнева кричит с места Бородин.— Вот из Москвы,— он приподнимается с газетой в руках,— композитор Чайковский пишет: «Как Ломоносова не удалось в свое время отставить от Российской Академии наук, так и Балакирева от русской музыки отставить нельзя».

Шум в зале не прекращается. Маленький судья, грозно поводя колючими бровями, звонит в колокольчик, призывая к порядку:

— Прошу успокоиться, иначе мне придется очистить зал от публики.

Мусоргский отвел глаза от своей нотной тетради.

— Почему Милий не пришел? — шепчет он с досадой Корсакову.

— Понять не могу, — встревоженно отвечает тот.

Все еще звонит в колокольчик судья. Шум постепенно стихает.

— Ваше слово, господин обвиняемый, — провозглашает судья.

В зале мгновенно наступает тишина. Стасов встает. Еле сдерживая себя, он негромко начинает:

— Господа судьи... Почему они так вопят? — указывает он в сторону критиков. — Они чувствуют в «Могучей кучке» новую поднявшуюся силу, которая раздавит их всех вместе сложенных... В этом смысле и упоминал я об их уничтожении. — Он слегка кланяется судьям. — Прошу принять во внимание. А в смысле физического воздействия, — глаза Стасова блеснули, — невластен, хотя, быть может, и сожалею об этом.

В зале оживление и смех. Стасов повышает голос:

— А что касается главного, скажу: они были лгуны, суть лгуны и пребудут лгунами... Как бы они сейчас ни корчились от этих слов!

Разъяренный Гагин и захлебывающийся фон Мец что-то шепчут Ржевскому.

Стасов продолжает, указывая на кипы газет:

— «Урезонить»?!. 'Ложь!.. Каждая их статья, каждая строчка — вещественное доказательство их травли. Они улюлюкают, они обливают грязью Балакирева, его учеников и нашу «Бесплатную школу» для народа! Ржевский! Мне стыдно за вас! — в упор обращается Стасов к композитору.

Ржевский вздрагивает от неожиданности.

— Ведь вы же все-таки русский композитор! — продолжает Стасов. — И у вас есть и сила и воля. Это явствует из вашего выступления, — в голосе Стасова ирония и горечь, — вы так воинственно тянули Россию назад, на задворки!

— Не удастся вам это, господа Ржевские,— не удастся!— громко восклицает Платонова, сидящая в зале рядом с Осипом Петровым и Иваном Мельниковым.

— А что вы увидели в Европе, Ржевский? — спрашивает с горьким сожалением Стасов.— Вы вместе с теми,— гневно продолжает он,— кто сходит с ума от мармеладных трелей, кто расслонявился перед итальянскими примадоннами,— Стасов поворачивается к критику Гагину,— и кто вопит коленопреклоненно: «Божественная Патти!»

Шум, смех и аплодисменты в зале.

— О, Патти, Патти! — почти вслух запел Мусоргский, увлеченный своей работой: он продолжает что-то писать в нотной тетради.

Голос Стасова гудит органом:

— Что им наши народные таланты?.. А они растут! К примеру, Мельников,— продолжает Стасов.— Ныне солист Мариинского театра, недавний ученик нашей «Бесплатной школы».

Осип Петров с отеческой нежностью похлопывает смутившегося Мельникова по плечу:

— Смелей, смелей, наш будущий Борис!..

— Чего мы хотим? — Стасов говорит теперь неожиданно мягко и проникновенно.— Мы хотим самобытного русского реалистического искусства! Русский народ испокон веку любит песню широкую и мудрую, как сама природа нашей бескрайней земли. Не гоже наследникам Глинки и Даргомыжского бить поклоны у чужих порогов! Мы ввели нашу правдивую русскую песню в светлую горницу искусства! Мы удесятерим свои силы, постигнув ее. Она уже звучит в наших операх и симфониях! Мы оснастим ее новыми крыльями! — С напряженным вниманием слушает Стасова весь зал.— Лети вперед! Зови вперед, к тем неминуемым временам, когда в раздолье и счастье запоет наш народ! — взволнованно заканчивает Стасов.— И услышат его во всех отдаленных уголках земли и возрадуются!

Громкие аплодисменты покрывают заключительные слова Стасова.

...И вот в напряженной тишине, стоя, слушает зал.

Председательствующий, поправляя судейскую цепь, читает судебное решение:

— Санкт-Петербургский окружной суд постановляет: на основании статьи 1040 Уложения о наказаниях за брань в печати подвергнуть Стасова Владимира Васильевича денежному взысканию в размере 25 рублей и домашнему аресту на семь суток.— Насупив брови как можно суровее, чтобы скрыть неудержимую улыбку, судья заканчивает:— Относительно же обвинения в клевете — признать его, Стасова, по суду оправданным.

Шум, веселые возгласы, аплодисменты покрывают слова судебного приговора.

...В кулуарах суда столпотворение.

Стасов проходит мимо аплодирующей публики. Его окружают Петров, Платонова, балакиревцы, все его друзья. Дормидонт Иванович, пробравшись сквозь толпу, с восторгом жмет руку Стасова.

— Итак, все — в Парголово,— говорит Стасов друзьям.— Ко мне на дачу, немедленно. А я — за пропавшим Милием... И вместе прибудем! — Он направляется к выходу.

В группе художников, окруживших Мусоргского и Александру, слышатся смех и веселые восклицания. Мусоргский с комической важностью показывает Репину и молодому художнику Моласу только что исписанную им нотную тетрадь. Над строчками нот заглавие:

«Р а с к»

В. В. Стасову посвящается

— Тяжко раненный младенец... — напевает Мусоргский, мастерски представляя плаксивого фон Меца.

— Да ведь и у меня!.. — кричит Репин, раскрывая свой альбом с зарисовками.

— О, Патти, Патти! О Па-па... — напевает Мусоргский.— Вот сегодня вечером и представим,— подмигивает он смеющимся художникам и Александре.

Смеется Александра, держа в руках нотную тетрадь. Она перелистывает страницы «Райка».

Александра и Мусоргский сидят на сломанном дереве на вершине холма. Шелестит весенняя светлозеленая листва. Внизу парголовское озеро. Его высокие берега, небо с белыми клубами плывущих облаков отражаются в тихой воде.

Мусоргский прислушивается. Далеко за озером звучит песня. Поет низкий женский голос. Тема будущей песни Марфы «Исходила молодешенька» проступает в мелодии.

— Хорошо как... слышите? — говорит Мусоргский.— Древний напев... Пожалуй, раскольничий...

— Что-то о любви... и печальное... — прислушивается Александра.

— Тишь какая,— мечтательно шепчет Мусоргский.— Вот поставим «Бориса», и я напишу о ветре, о листьях, о шуме травы...

— Вы напишете об этом?

— В вашем голосе недоверие, Сашенька! Право же, я... а, впрочем,— улыбается Мусоргский.— Вы правы! Некогда!

— Ну вот...— качает головой Александра.— И все-таки мне весело сегодня! Потому что мы вместе. Потому что такой день, такая песня... И потому что вам хочется писать о ветре, о листьях, о шуме травы...

Глаза их встречаются.

— Сашенька, милая... — Мусоргский склоняется к ее руке.

Со стороны дороги слышится стук копыт.

— Должно быть, наши,— говорит Мусоргский поднимаясь.

Внизу, на повороте дороги показалась коляска.

— О-го-го-го! — кричит Мусоргский и легко сбегаёт с откоса навстречу приближающемуся экипажу. Кучер останавливает лошадей. Мусоргский подбегает к коляске, вслед за ним подходит Александра.

— Где Милий? А Стасов? — быстро спрашивает он у Надежды и Корсакова, сидящих вдвоем в широком тарантасе.

— Не ведаем, — несколько растерянно отвечает Корсаков. — А разве они ещё не приехали?..

— Дорогие!.. — говорит с радостным смущением Надежда. — Поздравьте нас, мы сегодня дали друг другу слово...

— О!.. В добрый час! — восклицает Мусоргский, вскочив на подножку коляски. — Салют жениху и прелестной невесте! Поздравляю!

Александра садится рядом с Надеждой и нежно целует сестру. Лошади трогаются. Надежда с лукавой улыбкой обращается к Мусоргскому:

— Модест Петрович! А я слышала, вы полагаете, будто женитьба — измена творчеству?!

Все смеются, а Александра внимательно смотрит на Мусоргского. Мусоргский, смутившись, грозит пальцем Корсакову, с невинным видом протирающему свои очки:

— Нет, нет. Что вы, не всегда, конечно, не всегда...

— Мусорянин приехал! Ура! Мусорянин! — слышались детские возгласы. К тарантасу подбегают дети. Они с радостью приветствуют приехавших.

Окруженные щебечущими детьми, Александра и Надежда идут по пронизанной солнцем роще и желтой песчаной дорожкой поднимаются к даче Стасова. Здесь уже полно гостей, почти вся «Могучая кучка», но самого хозяина нет. Посреди зеленой лужайки на высоких качелях Бородин с женой, очаровательной хрупкой Катериной Сергеевной, и Цезарь Кюи.

— Привет Модесту! — ещё издали кричит Бородин.

— Земню кланяюсь! — отвечает Мусоргский.

— Адмирал, на корабль! — командует Цезарь Корсакову. Надежда и Корсаков подбегают к качелям, устраиваются на них и взлетают ввысь. Весенний воздух звенит от смеха и шутливых возгласов.

Дети подводят Александру и Мусоргского к небольшому столу под деревом у самой террасы, на котором Репин с помощью Моласа мастерит куклы. Художники вырезают из картона, расписывают, склеивают кукол и даже наряжают в какие-то лоскутки. Это шаржи на героев сегодняшнего суда: очень смешные и очень похожие незадачливые истцы-критики и Стасов в арестантском халате и кандалах...

— Аппетитные штучки! — с восхищением разглядывает их Мусоргский. — Хоть завтра на вашу выставку отправляй, — говорит он и кланяется Репину.

Молас торопит Мусоргского:

— Прорепетируем до приезда Стасова, Модест Петрович.

— Какая корона! — смеется Александра.

— А это я вам, Сашенька, — с влюбленной улыбкой преподносит Молас корону Александре. — Старался изо всех сил.

— Ну, комедианты, за работу, — командует Репин, собирая кукол.

...Перед террасой уже устраиваются приехавшие гости. В ожидании репетиции зрители располагаются на траве, на скамейках, на качелях. Послеполуденное солнце освещает оживленные лица.

— Это мое место! Сюда, сюда скорей! — звучат нетерпеливые возгласы. — Садитесь, тише! Модест Петрович, начинайте же!

— Идем, идем, идем... — возвещает Мусоргский. — Ну как у вас тут? — спрашивает он своих помощников.

На террасе за импровизированной ширмой Репин и Молас уже приготовили кукол. К роялю, выдвинутому из комнаты, садится Кюи и начинает играть вступление к «Райку». Перед ширмой у самых ступенек террасы Мусоргский, под-

боченившись, выкрикивает с интонациями балаганного зазывалы:

— «Раяк». В набросках предлагается.

Эй, почтенны господа,
Захватите-ка глаза...

Голосом и лихой повадкой Мусоргский в эту минуту напоминает кукольника, виденного им когда-то в деревне.

Подходите, поглядите,
Полюбуйтесь, подивуйтесь
На великих на господ,
Музыкальных воевод!
Все здесь!

Из-за ширмы появляется кукла. Это пылкий италияноман, вертлявый и эlegantный критик Гагин.

Мусоргский озорно подмигивает публике, представляя его:

Всю жизнь он вертелся,
Ну и завертелся,
Ничему не внимлет
И внимать не в силах,
Внимлет только Патти,
Патти обожает,
Патти воспекает...

И появляется Патти. Смеющийся Репин поднимает над ширмой вторую куклу. В белом платье, в пышном белом парике, с карикатурно подведенными огромными глазами предстает перед очарованным Гагиным модная итальянская дива. Гагин падает на колени перед своим божеством. И Мусоргский, пританцовывая, поет на мотив салонного вальса:

О, Патти, Патти!
О, Па-па-патти!
Чудная Патти! Дивная Патти!..

Смех, хохот, буквально стон стоит на площадке — так блестящ и неподражаем комический талант Мусоргского, своеобразна и выразительна его манера пения.

Смеются до слез Бородин и Катерина Сергеевна. Смеются Корсаков и Надежда, наблюдающие за представлением с качелей. Восхищенный Корсаков, аплодируя, отпускает на миг канат и едва не падает. Не выдержал и сам аккомпаниатор Цезарь Кюи — хохочет за роялем.

«Раек» продолжается. Репин показывает свой шедевр. Из-за ширмы появляется кукла с красными одутловатыми щеками, изображающая фон Меца. Глядя на куклу, Мусоргский с поразительной тонкостью передает характер и копирует движения разобиженного профессора:

Вот плетется шаг за шагом
Тяжко раненный младенец,
Смыть пятно с себя молящий,
Неприличное пятно...

Взрыв хохота и аплодисментов покрывает последние такты отрывка, посвященного фон Мецу. Кюи начинает вступление к следующему номеру «Райка»...

Но вот на дорожке, ведущей от озера к террасе, появляется запыхавшийся Дормидонт Иванович. Он с трудом пробивается сквозь толпу зрителей.

— К вам забегал. Вот из театра прислали, — шепчет Дормидонт Иванович, бережно передавая Мусоргскому письмо. — Думаю, дай обрадую.

— Спасибо.

Мусоргский быстро надрывает конверт и разворачивает официальную бумагу. Текст письма гласит:

«Оперная дирекция не одобряет оперу «Борис Годунов» господина М. Мусоргского для постановки на сцене императорских театров».

Помрачневший, стоит неподвижно Мусоргский. Молча вытирает свое лицо платком Дормидонт Иванович.

...Это же письмо в руках Мусоргского. Он в кабинете директора Мариинского театра. Здесь Гедеонов, замести-

тель директора Лукашевич и старый капельмейстер театра. Со сцены доносятся звуки оперы «Наида» композитора фон Флотова. Звучит голос Юлии Платоновой.

— Вы, конечно, понимаете, господин Мусоргский,— говорит немного растерянный директор театра,— что таких... опер у нас еще не бывало.

— О да,— любезно соглашается Мусоргский, сидя в кресле и непринужденно играя письмом.— Сознаюсь, это большое прегрешение с моей стороны...

Старый капельмейстер чуть вздрагивает от неожиданности. Лукашевич, стоя у окна, молча наблюдает за Мусоргским.

— И потом главная партия...— продолжает, запинаясь, Гедеонов,— главное действующее лицо у вас... представьте... народ?!

— Вы очень тонко подметили, ваше превосходительство,— еще охотнее, с явной иронией соглашается Мусоргский.

— Но помилуйте, зачем? — с дрожью в голосе перебивает капельмейстер.— Все так неприглядно и грубо у вас, господин Мусоргский... Этот грязный Юродивый... или этот Варлаам... Зачем, зачем это вам? — он уже негодует.— Где тонкость, где вокал, где женская партия, где возвышенные чувства?!

Мусоргский усмехается...

...Дверь с табличкой «Директор театра» резко распаивается. Из кабинета выходит Мусоргский с партитурой в руках и быстро, почти бегом спускается с лестницы.

— Мусоргский, остановитесь! — кричит с верхней площадки лестницы Юлия Платонова, догоняя его. Сверкающая блестками, в экзотическом костюме одалиски, она придерживает спадающую с плеч вуаль. — Мусоргский, остановитесь!

Мусоргский услышал, обернулся...

...Мусоргский в театральной уборной Платоновой. Окно раскрыто. Стоят живые цветы в корзинах, ветер колышет голубые шелковые шторы.

— Как же теперь? Что будет? Да вы присядьте.— Платонова нервно сбрасывает какие-то пестрые тряпки, ленты и перья с кресла.

— Решено, Юлия Федоровна,— с наигранной легкостью рассказывает Мусоргский.— Народ мой из оперы — в сторону. Царя Бориса с его тягостной канителью — в другую... Ландшафт открывается, и вот прелестная Марина Мнишек...

— Модест Петрович!

— Мы можем даже переименовать оперу — «Марина Мнишек» или... Чего же вы хмуритесь, дорогая? — говорит с горечью Мусоргский. — Это будет чудесно, вы будете в центре... Мне уже мерещится ария Марины с трелями на паперти Василия Блаженного... Рядом с ней Юродивый... Но он не грязен, о нет...

— Замолчите!.. — на глазах Платоновой слезы.

Мусоргский подходит к окну.

На улице разразился внезапный ливень. Брызги дождя обдают Мусоргского. Он поворачивается к Платоновой, вытирая платком лицо, и улыбается ей.

— Спасибо, сиятельная... Спасибо за тревогу, дорогая Юлия... — он вдруг запнулся.— Да вы покойной матушке моей тезка, а ведь только сейчас и заметил... — И как будто вспомнив что-то, стал торопливо прощаться.

— Куда вы? Ведь дождь какой!

— В нашу «Бесплатную»! В нашу цитадель, как говаривал Даргомыжский... Мы там поставим «Бориса»! В «Бесплатной» прозвучит. Премьера будет! Будет! — Мусоргский выходит.

Юлия Федоровна стоит у окна. Глаза ее гневны. Пальцы непроизвольно рвут длинные нити бус. Они со звоном рассыпаются по полу.

За окном усиливается ливень.

Ливень за окнами «Бесплатной школы».

С удивлением осматривается Мусоргский в вестибюле. Здесь снуют какие-то должностные лица. Расстроенный Иван Матвеевич молча подает им ключи от роялей и шкафов. Растерянные ученики теснятся по углам. Дворники выносят кресла и диваны.

— Осторожно, осторожно несите,— шипит один из чиновников.

— Школу-то нашу описывают за долги, Модест Петрович,— шепчет Мусоргскому старый хормейстер.

— Что вы? Не может быть... Не может быть!

Мусоргский взбегаёт по лестнице, стремительно открывает дверь в кабинет Балакирева и в изумлении останавливается... По всему полу разбросаны бумаги, ноты, смятые и разорванные афиши. В глубине комнаты, не замечая вошедшего Мусоргского, Стасов и Балакирев продолжают резкий разговор.

— Бежать?! — кричит Стасов, стуча кулаком по столу.

— Вы не смеете кричать на меня,— складывая бумаги, отрывисто бросает Балакирев.

— Я буду кричать ещё больше! Милый Балакирев складывает оружие!..

— Да, пора хлопнуть дверью. Довольно с меня всего! Я ухожу: Балакиреву нет места в музыке! — И забрав несколько папок, он хочет уйти, но останавливается, увидев Мусоргского.

Молча глядят они друг на друга.

— Идёмте вместе, Модест,— наконец говорит Балакирев,— вот с этой вашей убиенной партитурой.

— Вы ли это, учитель?.. — подходит Мусоргский к Балакиреву.— На удар надо ответить ударом, а вы... Ведь наш триумф на суде...

Балакирев резким жестом останавливает его:

— Пыль!.. А «Борис»?.. А здесь?.. Душат! Треклятое время... Ничего не будет!

— Неправда, будет! — перебивает горячо и убежденно Мусоргский.

— Оглянитесь вокруг, — со злобой говорит Балакирев. — Торжество стяжателей! Сановная дрянь, биржевики... Каторжные рыла, как сказано у Щедрина. Что им Бетховен и Глинка?

— Опомнитесь, вас подменили! Вы настоящей России не видите! — негодует Мусоргский. — А она поднимается, набирает силы... Милый, ведь мы же за Чернышевским шли!..

— Я болен, болен. Они добились своего... Я... устал... — голос его дрогнул, он махнул рукой и быстро вышел.

— Милый, слышите, вашу песню поют?! — кричит ему вслед Стасов. Но Балакирев не возвращается...

Звучит хор. Стасов и Мусоргский входят в зал. Чиновники заканчивают опись имущества «Бесплатной школы».

В зале у неопечатанного за ветхостью рояля стоят ученики школы. Широко льется «Запевка» Балакирева:

О, пора тебе на волю, песня русская...

Корсаков дирижирует хором, как будто стоя на капитанском мостике во время шторма. Поет хор:

Благовестная, победная, раздольная...

Горят глаза, покраснелись молодые лица. Страстно поет хор учеников. Вызовом и протестом звучит в их исполнении эта песня.

Чиновники, описывавшие школу, уходят.

— Тише, тише, — провожает их швейцар Иван Матвеевич. — Слышите?.. Всего за долги не опишешь! Песню не опечатаешь!

Дирижирует Корсаков, вдохновенно поет хор. Задумчиво слушает Мусоргский.

— Ну, как теперь будет с нашим «Борисом»? — спрашивает Стасов, склонившись к нему.

— Не могу сейчас о нем, — тихо отвечает Мусоргский. — Начну другое... Помните, вы как-то подсказали мне тему... Хотите, покажу?..

Выставка «передвижников». Еще рано, залы немногочисленны. Широкие блики солнца лежат на полотнах, на багетах, на золотистом паркете.

У картины Репина «Бурлаки» — группа посетителей. Здесь же тревожная и рассеянная Александра. Она кого-то ждет. Рядом с ней художник Молат. В зал входит Мусоргский в сопровождении Стасова, быстро проходит мимо Александры, не заметив ее. Она хочет окликнуть Мусоргского, но не решается. Что-то поразило ее в лице композитора.

Мусоргский со Стасовым идут по залам выставки. Мимо них проплывают полотна «передвижников»: вьется тропинка в золотой ржи; большелобый мужик прищурился на солнце; мечутся грачи над куполами церквушки; купчики и гостинодворцы высмеивают разночинца; у кипящего самовара распивает чаек маленький чиновник, чем-то похожий на Дормидонта Ивановича.

Вот последний, залитый ярким солнцем зал. Здесь картины, полные страсти и силы. Над простором степей парят орлы; богатыри оглядывают дали... Среди других картин большое полотно: «Самосожжение раскольников». В дыму и пламени стоят люди с непреклонными и упрямыми лицами.

Кажется, будто доносится музыка. Тема «Хованщины» Мусоргского все явственнее проступает в ней.

— Вспоминаю, вспоминаю, — говорит Стасов, — о раскольниках наш разговор...

— Да, да! — кивает головой Мусоргский, жадно разглядывая картину. — Вторую страницу истории перевернем... Снова бурлит народ... Время юного Петра, смуты бояр...

— Бунт Хованских... — подхватывает увлеченный Стасов.

— Вот, вот... Они приманили народ царством небесным, обещая блаженство...

— Но продали и предали его,— продолжает мысль Мусоргского Стасов.

— За призраком гонятся раскольники, пусть не за стоящее дело стоят, но ведь какая сила, Владимир Васильевич!— восхищенно смотрит на картину Мусоргский.— Горят, а не сдаются! Ни одному народу не приснится такое!.. Какие лица, какие характеры! — продолжает Мусоргский, глядя на темноглазую, смуглую раскольницу на картине.— Видите эту бабу!.. Назвать бы ее Марфой, а?

— Анафемски все это увлекательно! — с жаром обнимает Стасов Мусоргского.— Но от «Бориса», знайте, не освобождаю! — настойчиво продолжает он.— Нет, не сдадимся! Ведь мы с вами старые «раскольники»! — улыбается Стасов.— А Милий?!. Эх, Милий!.. — с грустью машет он рукой...

— Владимир Васильевич! — перебивает его отчаянный возглас Репина.

Стасов оборачивается. В соседнем зале выставки собравшаяся у «Бурлаков» толпа молодежи и художников качает Репина.

— Помогите! Погибаю во цвете сил! — выкрикивает, смеясь, Репин.

— Поделом! — гудит Стасов, появляясь в дверях и не мешая овации.— Его можно. За «Бурлаков» даже должно!.. Богатыри! «Горят, а не сдаются»! — многозначительно шепчет он Мусоргскому и вместе с художниками подходит к «Бурлакам».

Александра и Молас стоят у небольшого пейзажа. Это памятный парголовский холм, шелестящий молодой листвой деревьев, озеро, в котором отражается синее небо и белые клубы летящих облаков... Тот самый холм, где так недавно она слушала вместе с Мусоргским замирающую в тишине далекую раскольничью песню.

— Мне нравится ваш пейзаж,— говорит Моласу Александра,— особенно листья... Как живые...

— Правда, Сашенька? — восклицает обрадованный Молас.— Они там непрерывно шумят.

— Да, я знаю,— задумчиво говорит Александра.

И вдруг она опять увидела Мусоргского. Погруженный в свои мысли, он снова прошел мимо и снова не заметил ее...

— Вы хотели видеть его,— тихо напоминает Молас.

Александра медленно качает головой:

— Нет, я не буду мешать ему.

— Сашенька! Вы — мешать?! — невольно вырвалось у влюбленного художника.— Да разве вы можете мешать? Я готов всю жизнь, Сашенька...

Небольшой зал трактира. Полуденная суeta. Звенит посуда, снуют половые в белых рубахах. Клубы пара вздымаются от чайников. Повис в воздухе сизый табачный дым, сквозь который посетители кажутся коричневато-серыми тенями. Заливаются нехитрой трелью канарейки. Их заглушает сиповатый бас, тянувший старинный раскольничий напев.

За столиком возле кадки с засохшей пальмой — Мусоргский, Дормидонт Иванович и худощавый студент-историк в поношенном пиджаке. Поет длиннобородый смуглый человек в поддевке.

— Не извольте сомневаться, Модест Петрович! — говорит довольный Дормидонт Иванович.— Раскольничий напев в доподлинном виде-с!

Студент, разглядывая певца, спрашивает Дормидонта Ивановича:

— Вы в каких катакомбах раскопали его?

Дормидонт Иванович гордо взглянул на Мусоргского. Но Мусоргский очень рассеян сегодня, какая-то мысль не покидает его.

— Решено! — как бы про себя говорит он, глаза его загорелись знакомым озорным огнем. — Решено! — повторяет он уже громко. — Переделываем «Бориса». — Мусоргский встал. — «Возвышенных арий» требуют?! «Любовных чувств» жаждут?!. Будут! — Он быстро оборачивается к Дормидонту Ивановичу. — Марина Мнишек, как по-твоему, дама?

— Конечно, дама, — даже опешил тот от неожиданности.

— Нет, — смеется Мусоргский. — Она, брат, козырная дама в руках иезуитов и шляхты. — Мусоргский резко наклоняется к студенту. — Слушай, историк! А что, если мы и впрямь Марину в оперу введем, а?.. Да не одну, а пусть панство, иезуиты и прочая нечисть попрут на Русь, Гришкой Отрепьевым прикрываясь... А потом в ненависти к пришельцам-поработителям утопим веру народа в Самозванца?!

— Прекрасно, распрекрасно, — зажегся и студент.

— Ух! — кричит Мусоргский радостно. — Да это мне и сам Чернышевский посоветовал бы! И создадим еще одну сцену в конце нашей оперы! — продолжает он вдохновенно. — Сцену, которую наш дорогой Пушкин не успел дописать... Сцену вольницы, гнева и силы народной — сцену «Под Кромами»!

И привычным жестом скрестив руки на груди, он умолкает, как бы уже вслушиваясь в новые мелодии, вглядываясь в новые образы. Благоговейно смотрит на него Дормидонт Иванович, внимательно слушает студент-историк.

...Звучит и ширится музыка. Ясный солнечный день. Мусоргский в белой рубашке с открытым воротом, как-то по-особенному красивый в эту минуту, с лихорадочной быстротой пишет за своим столом. Стол завален эстампами, книгами, исписанными нотными листами и вплотную придвинут к роялю.

Но вот Мусоргский задумывается. Напряженная мысль в

его глазах. Потом он бросает карандаш и присаживается к роялю. Начинает играть.

Звучит рояль. Но Мусоргский слышит мощный оркестр, нарастает музыка сцены «Под Кромами»...

...Необозримые просторы русской земли. Березовый лес на больших покатых холмах золотится на солнце. До самого горизонта зеленеют поля. Вдали белые крепостные стены Кром.

На высокий холм поднимается вооруженный народ. Мелькают вилы, топоры, у некоторых пищали. Гудит вольница. Все слышнее могучий голос хора.

Тащат крестьяне на расплату боярина. Сажают его на пень, затыкают ему рот кляпом, стаскивают с него богатую шубу и высокую шапку. Музыка, крики, свист.

— «Вали сюда! На пень сади! На пень, ребята! А чтоб не больно выл, чтоб горла-то боярского не портил — законопать!.. Важно!..»

Смех, злорадные возгласы в толпе:

— «Что ж, братцы? Аль так, без почету боярина оставим? Ведь он борисов воевода. Борис-то воровски престолом царским правит, а он у вора воровал. Что же, за то ему почет, как вору доброму!..»

Один из мужиков бросает боярскую шубу наземь, другой с издевкой вертит боярскую шапку перед самым носом боярина. Все хохочут потешаясь:

— «Ха-ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе! Ладно! Давайте величать! Эй, бабы, заводи!»

Ведут боярина с песней величальной:

Не сокол летит по поднебесью,
Не борзый конь мчится по полю,—
Сиднем сидит бояринушка,
Думу думает.
Слава боярину, слава борисову!

...Выпрямившись во весь рост, стоит у рояля Мусоргский. Будто и он промчался по полю с казаками, будто и он плясал с мужиками и бабами лихую пляску... Почти в полный голос поет Мусоргский, снова присев к столу и записывая мелодию:

Ой, силушка, ой, грозная, ой!..

...Притянули боярина к высокой березе. Ужасом исказилось его лицо. Готовят петлю Варлаам и огромный мужик, похожий на кукольника деревенского. Да и мужики и бабы похожи на крестьян, виденных некогда Мусоргским в памятный ему день...

Не успевает накинуть петлю Варлаам — звуки марша останавливают его. Это марш Самозванца...

Уже вечер. Горит свеча на рояле. Мусоргский в задумчивости стоит у окна...

...Темнеет небо. Синие и фиолетовые тени ложатся на землю. Вдалеке на горизонте еле виднеются очертания крепости Кром.

Из темного ущелья во главе своего войска выезжает на холм Самозванец в шлеме с перьями, в латах, в белом плаще. Польские рыцари в крылатых доспехах сопровождают его.

Бросив боярина, подходит народ к Самозванцу, плотным кольцом окружает его.

— «Мы, Димитрий Иванович, — горделиво обращается к народу Самозванец, — божьим изволением царевич всея Руси, князь от колена предков наших, вас, гонимых Годуновым, зовем к себе и обещаем милость и защиту!..»

Боярин бросается к стремянам Самозванца:

— «Господи! Сын Иоаннов! Слава тебе!»

— «Встань, боярин! — милостиво обращается к нему Самозванец. — За нами в светлый бой, за родину святую, в Москву, в Кремль золотоверхий!..»

С недоумением наблюдает народ за этой сценой. Угрюмы лица мужиков.

Неуверенно славят они Лжедмитрия:

Слава тебе, царь батюшка!
Слава тебе, Димитрий Иванович!

Спускаясь с холма, проезжают мимо народа польские рыцари и латники. Горят факелы. Торжественно возглашают иезуиты, окружающие Дмитрия:

Deo gloria, gloria...

Удаляется в ночь шествие Самозванца...

...На вершине высокого холма, окутанного мглой наступающей ночи, сидит Юродивый. Ветер гонит багровые тучи... Встает Юродивый на фоне далекого тусклого зарева — вся Русь раскинулась перед ним. Полыхают огни пожарищ... Звучит плач Юродивого:

Лейтесь, лейтесь, слезы горькие!
Плачь, плачь, душа православная...
Скоро враг придет и настанет тьма,
Темень темная, непроглядная,
Горе, горе Руси!
Плачь, плачь, русский люд, голодный люд...

...Суровый и строгий сидит у рояля Мусоргский, одной рукой перебирая клавиши.

Задумался он, неподвижен.

Тишина.

Светлеет за окном...

Новый клавир:

„БОРИС ГОДУНОВ“
Опера в 5-ти действиях М. Мусоргского
Вторая редакция. Год 1872

И снова в ответ казенный бланк: «...Дирекция императорских театров отклоняет вторую редакцию оперы господина М. П. Мусоргского «Борис Годунов». Директор С.-Петербургских императорских театров Г е д е о н о в».

Знакомый нам трактир. Поздний вечер. Публики много. Неярко горят газовые шары. Тени колеблются на стенах. Дремлет у стойки лысый трактирщик, хлопочут половые.

Полутемным коридорчиком за стойкой проходит Дормидонт Иванович, робко стучит в дверь и приоткрывает ее.

— Не мешай! — слышен голос Мусоргского.

Наклонившись над столом, стоит Мусоргский со спутанными волосами, в накинутой на плечи зимней шинели. Его, очевидно, знобит. Лицо, освещенное свечой, опухло от бессонных ночей. Взгляд голубых глаз непривычно суров. Гневно сдвинуты брови.

Мусоргский в азарте. Карандаш его летает по бумаге. Читая написанный текст, он с яростью напевает что-то... Все громче и громче звучит голос Мусоргского:

Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила...
Милей родного брата
Она ему была...
Ха, ха... Блоха?..

— Модест Петрович, — робко шепчет Дормидонт Иванович. — Да ведь с утра не евши, не пивши...

— Не мешай! — раздраженно повторяет Мусоргский.

Дормидонт Иванович тихо выходит, оглядываясь на него, и осторожно прикрывает за собой дверь.

В зале трактира появляется Юлия Платонова в сопровождении Мельникова. Придерживая рукой мантилью, она сбегает по лестнице и подходит к трактирщику.

— Здесь Мусоргский? — взволнованно спрашивает она.

— Никак нет, — качает головой и старательно разводит руками трактирщик, выполняя, очевидно, наказ Мусоргского никого не впускать к нему.

— Где он? — не верит Платонова. — Ведите к нему!

— Да не было их здесь, — загораживает ей дорогу трактирщик.

— Я знаю, где он, — говорит Мельников, — не раз видел его там.

— Пустите, бессовестный вы человек! — Платонова, отстранив трактирщика вместе с Мельниковым направляется к двери за стойкой.

Не замечая Дормидонта Ивановича, стоящего у двери комнаты, в которой находится Мусоргский, Платонова и Мельников быстро входят туда. За ними вбегают встревоженный Дормидонт Иванович.

— Боже мой! Что вы здесь делаете? — подходит Платонова к Мусоргскому. Ее пугает и самый вид композитора и эта затхлая комната позади трактирной стойки...

Поглощенный работой, Мусоргский поднимает невидящий взгляд на вошедших.

— Едем! — умоляет Платонова Мусоргского. — Все наши певцы ждут вас... Мы решили...

— Модест Петрович! — просит и расстроенный до слез Мельников.

Мусоргский все еще рассеян и безучастен.

— Некогда, голубушка... Некогда мне, Ванюша, — говорит он, не отрывая глаз от исписанных листов. — А впро-

чем... Слушайте! — решает Мусоргский внезапно. — Дормидонт, зови всех!..

...Маленькая комнатка полна народу. Собрались студенты, несколько чиновников, мастеровые... Все это случайная публика вечернего трактира, но многие знают Мусоргского не только как частого посетителя. Его глубоко ценят и благоговоят перед его талантом.

Поет Мусоргский свою «Песню о Блохе»:

Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила...
Ха, ха... Блоха?..

С первых же тактов захвачены и покорены слушатели Мусоргского. Он поет без сопровождения инструмента, которого нет в этом жалком трактире, но это нисколько не умаляет силы его песни-сатиры:

Вот в золото и бархат
Блоха наряжена,
И полная свобода
Ей при дворе дана...
Ха, ха... Блоха?..

Слушают, затаив дыхание, случайные участники этого неповторимого вечера: и писатель-разночинец в клетчатом пледе, и знакомый нам студент-историк, и мастеровой в изношенной поддевке, и знаменитая певица Платонова, и Мельников, и суровые юноши-студенты с книгами подмышкой, и скромный чиновник Дормидонт Иванович, весь дрожащий от волнения.

Король ей сан министра
И с ним звезду дает,
За нею и другие
Пошли все блохи в ход!..
А-га!..

Крепнет и усиливается голос Мусоргского. Все озорнее и злее выражение его прищуренных глаз...

Мусоргский продолжает:

И самой королеве,
И фрейлинам ее
От блох не стало мочи,
Не стало и житья.
Ха, ха!..

Замерли в молчании слушатели. Неотрывно смотрит на Мусоргского Платонова.

Дерзким вызовом звучит его голос:

И тронуть-то бояться
Не то, чтобы их бить...
А мы, кто стал кусаться,
Тотчас давай... души-ить!..—

с силой заканчивает Мусоргский.

— Так их, Модест Петрович! — вскакивает с места Юлия Платонова.

— Так их! — жмет ему руку студент-историк. — Вы их великой ненавистью ненавидите!

— Ненавижу! — сквозь стиснутые зубы говорит Мусоргский. — Не за себя, за будущее русских людей постоять хочу!..

С восторгом слушают его Мельников, Платонова, студенты, мастеровые.

— Бодро до дерзости смотрим мы в дальнюю даль... То ли еще будет? «Бориса» нашего испугались?.. — говорит Мусоргский. — Эй, вы, скорбные духом! — грозит он кому-то в темное окно. — Ждите! «Хованщиной» на вас пойдем! А живы будем, — и третью страницу истории подыдем! Напишем и «Пугачевцев»!..

— Мусоргский! — тихо говорит Платонова, не спуская с него глаз. — Мусоргский с головы до пят!..

В кабинете директора императорских театров — сам Геденов и его заместитель, напористый, энергичный Лукашевич.

— Весь Петербург сходит с ума. Придется уступить, — настойчиво говорит Лукашевич. — Ведь все требуют постановки «Бориса»... Студенты, профессора и даже артисты нашего театра.

— Ты что же, к Стасову в пристяжные записался? — спрашивает Гедеонов плачущим голосом.

— Ты только не кипятись, — успокаивает его Лукашевич. — Ничего не поделаешь, кучка-то могучая. Слышал, Корсакова пригласили в консерваторию? Романсы Кюи — на каждом концерте! Симфонию Бородина прозвали «богатырской», шутка ли! И в «Бесплатной школе» — Балакирев ушел, другие его заменили. Нет, с ними не справишься! — И Лукашевич положил перед директором макет афиши. — Подпиши, ваше превосходительство, не промахнешься! Рыдай, а подпиши!

— Вот, вот и вот! — с негодованием разрывает в клочки афишу директор.

— Напрасно, — говорит невозмутимый Лукашевич, — Платонова выбрала эту оперу для своего бенефиса. Наставляет.

— Нет, словно рехнулись все! — всплеснул руками Гедеонов.

Серо-голубая артистическая уборная Платоновой. Юлия Федоровна у зеркала. На ней высокая странная тиара с разноцветными перьями, на шее ожерелья, множество браслетов на руках и ногах. С плеч ее широкими складками ниспадает плащ в красных, зеленых и желтых полосах. Она в костюме и гриме Африканки.

В дверь нетерпеливо стучат.

— Войдите, — нервно говорит Платонова.

Дверь широко распахнулась, и в уборную вбегают, запыхавшись, Мельников и Комиссаржевский, тоже в экзотических костюмах и гриме.

— Юлия Федоровна, вас вызывают в дирекцию, — с многозначительным видом говорит Комиссаржевский.

— Разговор о «Борисе»? — щурит серые глаза Платонова.

Комиссаржевский взволнованно:

— Полагаю.

— Да, Юлия Федоровна. В атаку! — добавляет умоляющим голосом Мельников.

— Ну что ж, Мельников, в атаку, так в атаку! — воинственно говорит Платонова. И быстро перекрестившись, идет к двери.

Знакомый сводчатый зал департамента. Мусоргский за столом, погруженный в топографические планы на больших синих листах. Лицо его постарело и немного обрюзгло. Взгляд стал жестче и острее.

Радостный Дормидонт Иванович подбегает к нему с письмом в руке.

— Письмо вам, Модест Петрович. Думал из театра... ан...

— Не говори о театре... Сколько раз просил, — перебивает Мусоргский, не отрываясь от бумаг.

— А я и не говорю. — Дормидонт Иванович вытирает перо о вицмундир и придвигает к себе чернильницу. — Но только не может быть, чтобы и теперь...

— Молчи!

— Молчу, Модест Петрович.

Мусоргский читает письмо.

— Дормидонт! — подзывает он приятеля, радостно ошеломленный. — Глазам не верю: Стасов меня к Балакиреву требует. Возможно ли?.. «Хованщину» хотим слушать... Сашенька вашу Марфу петь будет... Ей наброски передал...» — вслух читает письмо Мусоргский. — ...Страшно подумать, сколько времени ее не видел...

Дормидонт, украдкой глядя на Мусоргского, качает головой.

Мусоргский в волнении проводит рукой по волосам.

— Неужели же балакиревским субботам новый счет начнется?

— Что ж... поди, ведь соскучились без них.

— Господин Мусоргский! — слышен строгий начальственный окрик из-за двери. — Костромское лесничество, его превосходительству!

— Фрачок бы вам сегодня, — шепчет Дормидонт Иванович.

— В ломбарде он... — Мусоргский складывает дела для доклада.

— Выкупим-с! Ведь сколько уж Милия Алексеевича не видели! — радостно волнуется за Мусоргского Дормидонт Иванович.

— Девять месяцев и восемь дней, — отвечает композитор.

Правление Варшавской железной дороги. За высокой конторкой стоит Балакирев в мешковатом мундире и галстук, чуть съехавшем набок.

— Ключ, Милий Алексеевич, от вашей квартирки извольте выдать, — настойчиво говорит степенный Иван Матвеевич, — без него никак не уйду.

— Передайте господину Стасову, — отчеканивает Балакирев, с ожесточением отщелкивая на счетах, — что я перегружен делами и домой не собираюсь.

— Язык не повернется, Милий Алексеевич! — бесстрашно выдерживает его взгляд Иван Матвеевич, и Балакирев сам опускает глаза.

— Устраивают у меня содом, никого не спросясь, — ворчит Балакирев, передавая, однако, ключ Ивану Матвеевичу. — И меня же приглашают в гости. Балакиревские субботы не существуют. Я музыкой не интересуюсь.

— Зато вами завсегда интересуются, Милий Алексеевич! — с чувством говорит Иван Матвеевич.

— Идите, — перебивает, хмурясь, Балакирев. — Идите, Иван Матвеевич.

По лестнице большого петербургского дома поднимается с синими пачками свечей в обеих руках Иван Матвеевич. За ним Стасов со свертками и Кюи с рулонами афиш. Дойдя до площадки и отдышавшись, Стасов торжественно читает табличку на дверях: «Балакирев М. А.» Иван Матвеевич открывает квартиру.

В запущенной гостиной Балакирева праздничный и оживленный Стасов разворачивает свертки и рулоны. Это программы и афиши всех концертов «Могучей кучки», а также портреты и фотографии разных лет.

— Все это — на стены по всей хронологии. Священные стяги битв!

...Стасов без сюртука стоит на лесенке в гостиной, вооружившись молотком.

— Подавайте мне гвоздики, Цезарь, во славу товарищества, — командует он. — Парад в примечательный день!

Кюи, прибывая афишу, спрашивает:

— Неужели Милий будет?

— Не знаю, должен бы.

Иван Матвеевич, подметающий комнату, с неодобрительным видом поднимает пачку пожелтевших нот, завалившихся за рояль.

— Что за секреты? — допытывается Кюи. — И Мусоргский будет?

— Этот не замедлит, — весело отвечает Стасов.

Иван Матвеевич распаковывает пачку принесенных свечей.

— «Хованщину», что ли, чествовать намерены? — не отстает Кюи.

— Пожалуй,— ухмыляется Стасов.

— Ради сего и сей священный архив приволокли? — продолжает допытываться Кюи.

— Возможно.

Кюи, зажигая свечи:

— А я бы лучше советовал Модесту Петровичу «Бориса» доделать.

— Вы с ума сошли! — вспыхивает Стасов, расправляя афишу. — Что ему еще там доделывать?

— А у меня все еще шестнадцать замечаний имеется, — упрямо повторяет Кюи.

Александра, Надежда, Бородин и Корсаков появляются в дверях. Услышав последние слова Кюи, весело смеется Бородин:

— Ага! Цезарь уже сел на своего конька!

— Явились мои разбойники! — обернулся Стасов. Он с распростертыми объятиями идет навстречу прибывшим.

По лестнице дома Балакирева быстро поднимается Мусоргский, останавливается у знакомой двери, звонит. Дверь открывает Иван Матвеевич.

— А, Иван Матвеевич, здравствуйте, родимый!

— Здравствуйте, Модест Петрович!

В передней Мусоргский, сбросив шинель и фуражку, оправляет чуть смятый фрак.

...Через некоторое время, так и не дождавшись хозяина, в гостиной Балакирева, празднично разукрашенной яркими афишами, расположились вокруг рояля Стасов, Бородин, Кюи. За роялем, как всегда, Надежда. Низким, глубоким голосом поет Александра:

Исходила младшенька
Все луга и болота,
Все луга и болота,
А и все сенные покосы...

Балакирев идет по улице. Задумчиво и неторопливо он подходит к своему дому, входит в подъезд, но через мгновение выходит снова. Пройдя несколько шагов, он опять возвращается.

Из открытого окна его квартиры доносится голос. Поет Александра.

Звучит полная страсти и любви песня Марфы из «Хованщины».

Слушают Александру в гостиной, освещенной колеблющимися огоньками свечей. Мусоргский, стоя у стены, не сводит с певицы восторженных глаз. Его всецело захватило страстное исполнение песни Марфы. Александра кажется ему прекрасной, как никогда еще раньше.

А Александра продолжает петь, как бы рассказывая о себе:

Истоптала младшенька,
Исколола я ноженьки,
Все за милым рыскаючи,
Да и лих его не имаючи...

Александра смолкла.

Все зааплодировали, заговорили, вскочили с мест, окружили ее и Мусоргского. Больше всех взволнован сам композитор.

— Этого я не писал. Нет, нет я не писал этого,— говорит он ей,— это ваше. Сколько чувства и силы!..

— Мне очень близка эта ария, Модест Петрович,— тихо отвечает Александра.

— Живет «Хованщина», живет! — восклицает Стасов.

— А помните, Модест,— улыбается Корсаков,— вы не жаловали любовных арий.

— Спасибо, Марфа! — тихо говорит Мусоргский, наклоняясь к руке Александры. На ее безымянном пальце он видит обручальное кольцо. Мусоргский замирает, пораженный.

— Бис! бис! — кричит Бородин.

— Еще раз просим, Александра Николаевна!

Взгляды Мусоргского и Александры встречаются. Несколько мгновений они молча смотрят друг на друга. Мусоргский медленно опускает ее руку, отходит к окну. Лицо его грустно и задумчиво.

Снова негромко запекает Александра:

Исходила младшенька...

Мусоргский неожиданно увидел Балакирева у парапета набережной напротив окон.

— Милий, Милий! — кричит он.

Балакирев поднимает голову.

И все забыв, Мусоргский стремительно бежит по лестнице, выбегает из дому, спеша обнять своего учителя и друга.

— Милий! Милий! Наконец-то, заждались! Идемте же!

В этот момент к подъезду с шумом подкатывает экипаж. Из экипажа быстро выходит Юлия Платонова с выбившимися из-под шапочки волосами. За ней Мельников с огромным букетом цветов. Комиссаржевский с бутылками шампанского и Осип Петров с каким-то рулоном в руках...

...Радостный гул заполняет гостиную.

Юлия Платонова, счастливая и помолодевшая, в открытом вечернем платье стоит в торжественной, театральной позе.

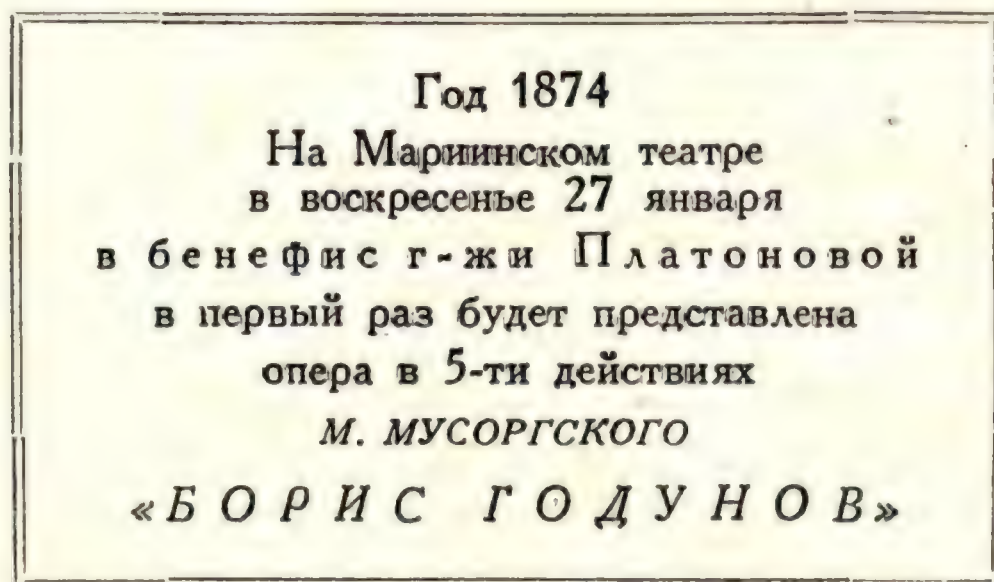
— Открывайте же! — приказывает она Мельникову.

Мельников быстро открывает одну за другой бутылки. Пенится шампанское. Комиссаржевский разливает его по бокалам.

Мусоргский несколько растерянно оглядывает все общество.

— Осип Афанасьевич! — продолжает командовать Юлия Федоровна.

И под радостные крики присутствующих Осип Петров торжественно раскрывает рулон. Это огромная, красочная афиша:



Все окружают Мусоргского. Гремят аплодисменты, шум, смех, крики «ура».

— Вот он, мой секрет, Цезарь! — слышен голос Стасова. — Надежда, туш!

Корсаков с Надеждой за роялем... В четыре руки начинают они лихую песню Варлаама: «Как во городе было, во Казани...» Дирижирует Бородин. Балакирев, растроганный, низко, в пояс, кланяется Стасову:

— Спасибо тебе, Владимир Васильевич, светлая душа! Этого вечера до смертного часа не забуду!

Мусоргский молча, не отрываясь, смотрит на афишу. Празднично выглядит озаренная пламенем свечи афиша «Бориса Годунова».

Афиша на Мариинском театре. Идет густой снег. У подъезда толпятся зрители, не попавшие на премьеру. В морозном воздухе дым костров. Над огнем греют руки извозчики. Неумолчный разноголосый говор молодежи, толпящейся у театра.

...Сверкающий огнями зал. Полны до отказа ложи, партер, балконы, ярусы. Стоят даже в проходах.

Взмахивает палочкой дирижер. Звучит вступление к «Борису Годунову»...

...Конец второго акта. В полутьме царская палата. На фоне темных со старинными фресками стен резко выделяется парчовая с синим одежда царя Бориса. Алый свет лампы перед иконой неяркий и тревожен.

— «Довольно! Удались!» — потрясает мертвую тишину зала крик Бориса. Уходит Шуйский.

Поет Мельников. Смертной тоской звучит ариозо Бориса:

Уф, тяжело... дай дух переведу.
Я чувствовал, вся кровь мне
Кинулась в лицо
И тяжело опускалась...

По особенной, торжественной и настороженной тишине зала чувствуется, что впечатление огромно.

О совесть лютая, как тяжело ты караешь!
И ежели в тебе пятно единое...
Единое случайно завелось...

Слушает ариозо Бориса молодежь на балконе и галерке. Молодые лица взволнованны.

Торжественный Балакирев. Он в новом сюртуке, с пышным галстуком не сводит своих сверкающих черных глаз с дирижера. Правая рука его непроизвольно следует за мелодией. Рядом с Балакиревым — Кюи. Он то и дело покусывает карандаш.

В одной из лож сидят взволнованные Корсаков с Надеждой и Александра с художником Моласом, теперь ее мужем. Рука Александры сжимает голубой бархат барьера ложи. Темная прядь волос выбилась на лоб.

В соседней ложе Бородин с женой. Подперев подбородок руками и наклонившись вперед, он весь устремлен к сцене.

Ложа Музыкального общества. Карцев внимательно смотрит на сцену. Его благообразное лицо за эти годы стало еще суше и строже, седые бакенбарды поредели. Пухлый фон Мец что-то шепчет своему соседу Ржевскому. Ржевский не оборачивается. Лицо его закрыто биноклем.

Преследуемый призраками мечется по сцене царь Борис:

Как молотом, стучит в ушах,
Укором и проклятием,
И душит что-то, душит,
И голова кружится...
В глазах дитя окровавленное...
Чур, чур, не я твой лиходей!
Чур, чур, дитя, не я...

Мусоргский один, тревожно шагает за кулисами. Стасов стоит у боковой кулисы, в волнении тербит свою бороду. Немного поодаль Петров — Варлаам, Комиссаржевский — Самозванец, хористы.

Прислонившись к декорации, напряженно слушает Платонова — Марина Мнишек.

На сцене Борис, обессиленный, стоя на коленях, заканчивает ариозо:

Господи! Ты не хочешь смерти грешника,
Помилуй душу преступного царя Бориса!..

Падает занавес.

Ржевский опускает бинокль. Фон Мец замер от удивления, увидев слезы, текущие по лицу Ржевского.

Мертвая тишина в зале.

В тревоге и волнении прислушивается Мусоргский... Тишина... Стремительными шагами идет к нему Стасов. Мусоргский бежит навстречу:

— Не понимают, Владимир Васильевич, что делать?.. Не понимают!

— О, что вы, милый! Все чудесно!

Мельников — Борис подходит к занавесу, прислушивается... Тишина... Мусоргский недвижим... И вдруг, как шквал, обрушиваются громовые аплодисменты.

— Слышите?! — поднимает руку Стасов.

Восторженные крики раздаются из зрительного зала.

— Мусоргский! Мельников!

— Мусоргский! Автора!

Счастлив и растерян Мусоргский.

— Слышите, что делается в театре? — подбегает к ним сияющий Мельников, Платонова и другие артисты.

Стасов обнимает Мельникова — Бориса.

— Идите же! — подталкивает он к сцене Мельникова и Мусоргского.

Зал стонет:

— Мусоргский! Мусоргский! Мельников!

На авансцене Мусоргский и Мельников раскланиваются под гром аплодисментов и восторженные крики. Из-за кулис Стасов, Дормидонт Иванович, актеры радостно наблюдают за ними. Дормидонт Иванович, с обожанием глядящий на Мусоргского, тоже кланяется, непроизвольно повторяя его движения.

— Уж не снится ли нам все это? О, смотрите, смотрите на него! — с горячей нежностью указывает на Мусоргского Балакирев, стоя со Стасовым за кулисами.

— Эх, не дожил наш Даргомыжский до этого часа! — говорит Стасов, вытирая глаза платком.

— Одиннадцатый вызов... четырнадцатый... — считает выпрямившийся во весь рост Милий Балакирев. Он не спускает глаз со сцены, куда снова и снова выходит на вызовы Мусоргский. — Девятнадцатый!..

Балакирев торжественно оглядывается на ложу, где с растерянными лицами сидят критики и члены дирекции Музыкального общества.

Бушует зал.

— Мусоргский! Мусоргский! Спасибо! — слышит Мусоргский. Это благодарит галерка.

И счастливый, растроганный Мусоргский низко кланяется молодежи...

Антракт. В кулуарах шум, споры. Профессора, коллеги Бородина, признательно жмут ему руки. Консерваторская молодежь окружает Корсакова и Надежду.

— Да, да, необыкновенная сила и величие замысла! — говорит Корсаков.

— Это подлинная страница истории! — восторженно заявляет Бородину маститый историк.

— Реформатор оперной сцены! — наступает на критика Гагина ликующий Репин.

— Нет, нет! — протестует Гагин.

— Да, да! — торжествует Репин.

К Цезарю Кюи подходит взволнованный Ржевский:

— Это отлично, Цезарь Антонович! Я потрясен вашим коллегой, господином Мусоргским, которого мы столь часто честили... Считаю своим долгом заявить об этом, — договаривает Ржевский и, повернувшись, быстро уходит.

Цезарь Кюи с любопытством смотрит ему вслед и спешит к балакиревцам.

...У подъезда не умолкают голоса молодежи, не попавшей на премьеру.

— Не узнать нынче императорский Мариинский! — ошалело осматривает толпу полицейский чин.

— Опера, вишь, про мужиков идет, — поясняет второй, — вот и зашевелились!

— Тут говорили, и сам сочинитель из мужиков.

— Понятное дело!

Старый швейцар в красной ливрее, загораживая полуоткрытую дверь, уговаривает толпящихся студентов:

— Напрасно вы, молодые люди... Что на морозе-то зябнуть?

— Мы только записочку господину Мусоргскому! — сердится тоненькая курсистка. — Он знает, он на всех вечерах у нас...

— Да что записка! — возражает швейцар. — Яблоку негде упасть!.. Да и зачем, милая барышня? Уже третий акт... Поляки действуют...

...Сцена у фонтана. Марина Мнишек — Платонова, Самозванец — Комиссаржевский.

В зеленоватом свете театральной луны поблескивает серебряная парча костюмов, украшения на пышном платье Марины Мнишек и камзоле Самозванца. Обстановка романтическая...

И все же это не обычная любовная сцена, не «возвышенные чувства»: тонкую политическую игру «козырной дамы» превосходно раскрывает здесь Мусоргский.

О, царевич, умоляю!
Не кляни меня за речи злые мои
Не укором, не насмешкой, но чистой любовью,
Жаждой славы твоей, жаждой величья
Звучат они в тиши ночной...

Очаровывает Лжедмитрия панна Мнишек к удовольствию иезуита Рангони, издали наблюдающего за ними. Его темно-фиолетовая шелковая сутана поблескивает за старыми деревьями аллеи.

Платонова прекрасна в своей роли: ее Марина и лукава, и нежна, и честолюбива, и как будто даже искренна в своей любви.

Дирижер, окрыленный столь громадным успехом премьеры, с воодушевлением взмахивает палочкой, улыбаясь бенефициантке. Оркестранты с лицами именинников особенно тщательно ведут свои партии.

Мусоргский, окруженный незанятыми в этот момент актерами, улыбаясь, слушает Платонову.

В своей ложе директор императорских театров Гедеонов. Он с гордым видом осматривает публику. Лукашевич, сидящий рядом, с усмешкой наблюдает за ним.

Идет к концу польский акт...

О, мой Дмитрий! —

ликованием звучит заключительная фраза Марины. Склоняется к ее ногам побежденный Самозванец под торжествующий смех Рангони.

Бурная овация в зале...

В уборной Платоновой чествуют бенефициантку и Мусоргского. Вносят корзины цветов. Мусоргский целует руку Юлии Федоровне.

— Спасибо, моя вечно дорогая, моя царица Марина Юрьевна!

— Спасибо за Бориса, — говорит Мельников.

Стасов обнимает и целует и Мусоргского, и Платонову, и Мельникова, и всех исполнителей по очереди.

Шум, приветственные возгласы, аплодисменты.

...Опера кончается. Идет последняя сцена «Под Кромами». Звуки могучего хора доносятся со сцены.

В аванложе перед разгневанным Карцевым стоит с ошеломленным видом Гедеонов.

— Но ведь успех, Хрисанф Николаевич... — лепечет он. — Тридцать вызовов автору, неслыханный успех...

— У кого? — перебивает Карцев. — У чумазных мальчишек, у стриженных дур? У исступленных радикалов?! Вы должны были понять, — медленно и зловеще отчеканивает Карцев, — что опера, где кабацкий поп ублажает почтенную

публику, а царь изнемогает под тяжестью грехов... А это что? —недоговорив, он грозно вытягивает холеный палец в сторону сцены: — Это революция, а не опера, милостивый государь!

Расходилась, разгулялась
Удаль молодецкая!..

Гремит в чинном императорском Мариинском театре полная вызова и мощи тема вольницы в сцене «Под Кромами».

Поднималась со дна
Сила пододонная!..

Народ тащит боярина на расправу. Гремит хор.

Ой, не выдал молодцов,
Ой, не выдал удалых!..—

летят со сцены грозные слова.

С задумчивой улыбкой смотрит и слушает Мусоргский заветную, столь дорогую ему сцену «Под Кромами».

Спектакль окончен. Площадь у театра. Все еще идет снег. Студенты и девушки не расходятся. Они поют. Звучит хор из последней сцены, еще более грозный в их исполнении:

Ой, не выдай молодцов,
Ой, не выдай удалых!..

На лицах поющих красные блики от догорающих на заснеженной площади костров.

— Гению русской музыки — ура!!! — слышны приветственные крики молодежи.

В ярко освещенном вестибюле Мариинского театра толпа зрителей устремляется навстречу выходящему композитору.

Медленно сходит по ступеням лестницы Мусоргский, он пожимает руки друзьям и незнакомым. Приветственные возгласы, аплодисменты...

— Великому правдолюбцу, Модесту Мусоргскому, слава! — органическим басом провозглашает Стасов.

Восторженно глядит на Мусоргского Александра, идущая под руку с Моласом.

— Модест Петрович! Модест Петрович! — окликает она.

Мусоргский направляется к Александре. Молас отходит к аплодирующим балакиревцам.

— Какой праздник, Модест Петрович! — быстро, задыхаясь от волнения, говорит Мусоргскому Александра. — Вся Россия услышала и полюбила вас...

— Дорогая моя! — тихо говорит Мусоргский.

— Я счастлива за вас... — взволнованно продолжает Александра.

Мусоргский молча берет ее руки в свои.

— Вы самый хороший в мире, — шепотом говорит ему Александра. — И самый дорогой в мире... Я всегда буду вашим другом, вашей соратницей... И если у меня когда-нибудь будет сын, я назову его Борисом в память о вашей премьере.

Мусоргский молча целует ее руку.

Весенняя капель. Встает заря над спящим Петербургом. Темнеют громады домов. На голубоватом зардевшемся небе — величественный силуэт Исаакия. Бело-голубые льдины плывут к морю по серым волнам Невы.

И как некогда, далекой весной, по набережной Невы этим ранним утром снова шагают все шестеро: Мусоргский, Корсаков, Бородин, Стасов, Балакирев и Кюи.

Мчатся по реке, весело сталкиваясь, льдины. Широко раскинулись воды Невы.

Долго стоят шестеро друзей на набережной, смотрят на ледоход.

— О чем вы задумались, Модест? — спрашивает Корсаков.

— Друзья... дойдем ли? — медленно говорит Мусоргский. — Встретимся ли с теми, кто пойдет по Руси этак через сто лет?.. С теми, кто перепашет времена и сердца?..

Первые лучи солнца озаряют их лица, широкую Неву, плывущие льдины...

— Художник верит в будущее, потому что живет в нем... — говорит с задумчивой улыбкой Мусоргский.

Вдохновенное, просветленное лицо Мусоргского. Его взгляд устремлен вдаль.

Полная мощи и торжества звучит музыка «Богатырских ворот» Мусоргского.

Редактор М. Лакштовская
Технический редактор Л. Горюловская
Корректор Г. Сопова

А03447. Подписано к печати 28/IV 1951 г.
Бумага 70×108¹/₃₂. Бумажных листов 1,88.
Печатных листов 3,77. Учетно-издательских листов 4,55
Издательский № 274. Тираж 30 000 экз.

17-я тип. Главполиграфиздата.
Москва, ул. 25 Октября, 5.

Цена 2 р. 70 к.